

VISIT...

LANZAROTE  
*Caliente*.COM

# Артур КОНАН-ДОЙЛЬ

## *Тень Бонапарта*



# Annotation

Удивительно — но факт! Среди произведений классика детективного жанра сэра Артура Конан-Дойля есть книга, посвященная истории Франции времен правления Наполеона.

В России «Тень Бонапарта» не выходила несколько десятилетий, поскольку подверглась резкой критике советских властей и попала в тайный список книг, запрещенных к печати. Вероятнее всего, недовольство вызвала тема — эмиграция французской аристократии.

Теперь вы можете сполна насладиться лихо закрученными сюжетами, погрузиться в атмосферу наполеоновской Франции и получить удовольствие от встречи с любимым автором.

---

- [Артур Конан Дойль](#)
  - 
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвертая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)

- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- 

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в  
[бесплатной электронной библиотеке](#)  
[Royallib.ru](#)

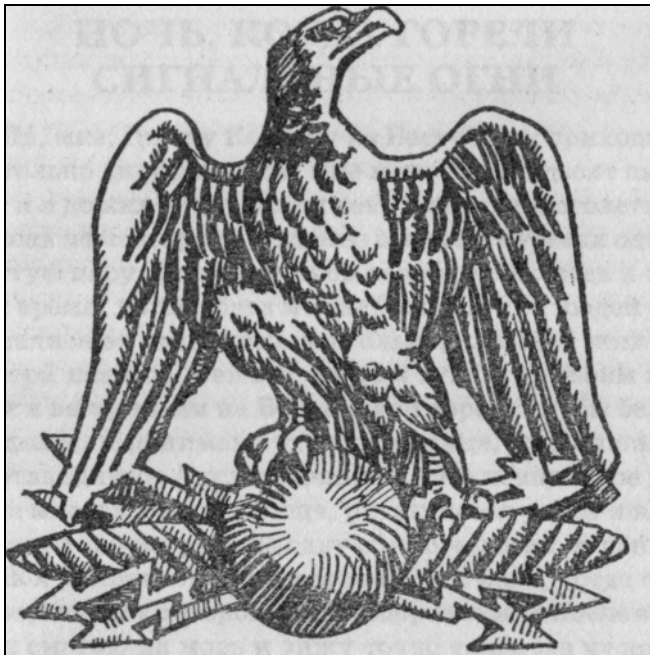
[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# **Артур Конан Дойль**

## **Гигантская тень**





# **Глава первая**

## **Ночь, когда горели сигнальные огни**

Да, мне, Джеку Колдеру из Вест-Инча, приходится только диву даваться: мне минуло пятьдесят пять лет и я дожил до середины девятнадцатого столетия, а жена не чаще раза в неделю вырывает у меня одну-другую пару седых волосков над ухом. Но ведь я видел время, когда образ мыслей и поступки людей отличались от нынешних настолько, словно я жил на другой планете. Сейчас, когда я гуляю по своим

полям и вижу вдали на Бервикской дороге клубы белого дыма, я понимаю, что по границе, отделяющей Шотландию от Англии, движется это невиданное дотоле многоногое чудовище, питающееся углем и влекущее в своем чреве не одну сотню человек. В ясный день я различаю, как блестит на нем медь, когда оно поворачивает в сторону близ Корримюра; а после этого я смотрю на море и вижу точно такое же чудовище, и даже не одно, а несколько сразу. Оставляя за собой черный след в воздухе и белый на воде, они плывут против ветра так же свободно, как лосось по Твиду. Доведись моему отцу увидеть такое,

он онемел бы от гнева и изумления; ибо он до такой степени боялся оскорбить Творца, что никогда не шел против природы и считал все новое чуть ли не богохульством. И поскольку лошадь создал Бог, а локомотив, несущийся по Бирмингемской дороге, — человек, мой старый отец ни за что не оставил бы седла и шпор.

Но он удивился бы еще более, если б увидал, что теперь в сердцах людей царят мир и благоволение, а в газетах пишут и на митингах говорят, что не будет больше войны, разумеется, за исключением войны с чернокожими и другими подобными народами. Ибо когда отец умер, шла

война, продолжавшаяся почти четверть столетия с кратким перерывом на два года. Попробуйте только представить себе это вы, живущие в мире и покое! Дети, родившиеся во время войны, вырастали, обрастали бородой, и у них самих рождались дети, а война все продолжалась. Те, что служили в армии и бились с врагами крепкими молодыми людьми, постарели и согнулись, а война все не прекращалась ни на море, ни на суше. Неудивительно, что люди привыкли считать такое положение дел нормальным и думали, что мир — это что-то противоестественное. В течение

этого долгого времени мы воевали с голландцами, испанцами, турками, американцами, уругвайцами, так что, казалось, в этой всеобщей войне не было родственных или совсем не состоящих между собой в родстве наций, которые не были бы вовлечены в борьбу. Но главным образом мы воевали с французами, ибо во главе их стоял великий военачальник, которого мы ненавидели, но в то же время боялись и восхищались им.

Его могли изображать на картинах, воспевать в песнях или представлять самозванцем, но я скажу вам одно: этого человека боялись так, будто над всей Европой

нависла грозовая туча: было время, когда ночью, завидев огонь на берегу, все женщины падали на колени, а все мужчины хватались за ружья. Он всегда оставался победителем — и этим наводил на всех такой ужас. Казалось, что не он подчиняется судьбе, а она ему. Сначала он объявился на северном берегу, у него было сто пятьдесят тысяч человек войска — все старые и brave солдаты — и суда для переправы. И тогда, как вы помните, треть взрослого населения нашей родины взялась за оружие, и наш маленький одноглазый и однорукий военачальник уничтожил их флот. В Европе оставалась всего одна страна,

в которой могли свободно говорить и мыслить — наша.

На холме, около устья Твида, был приготовлен костер для сигнального огня, — он был сложен из бревен и смоляных бочек. Я хорошо помню, как каждую ночь, напрягая зрение, вглядывался в темноту и ждал, не загорится ли этот костер. В ту пору мне было всего восемь лет, но в этом возрасте ребенок уже понимает, что значит война, и мне казалось, что судьба моей родины зависит от меня и от моей бдительности. И вот как-то раз ночью я вдруг увидел, что на сторожевом холме загорелся огонек. Язык пламени был ясно виден в

темноте. Я помню, как тер себе глаза, щипал себя и стучал костяшками пальцев по каменному подоконнику, дабы убедиться, что все это происходит наяву. Затем пламя разгорелось сильнее, и я увидел на воде красную дрожащую полосу; я бросился к отцу с криком, что французы переплыли канал и что в устье Твида горит сигнальный огонь. Отец разговаривал в это время с мистером Митчелом, студентом-юристом из Эдинбургского университета, и я точно теперь вижу, как он выбил золу из своей трубки об угол камина и посмотрел на меня сквозь очки в роговой оправе.

— Да ты не напутал, Джек? —



спросил он.

— Умереть на месте! — ответил я, задыхаясь.

Протянув руку, отец взял со стола Библию и, положив ее себе на колени, раскрыл, как будто намереваясь прочесть нам что-нибудь, но вдруг захлопнул ее и поспешно вышел на улицу. Мы, то есть студент-юрист и я, шли за ним следом до ворот, выходящих на большую дорогу. Отсюда были видны красное пламя огромного сигнального огня и другой огонь поменьше, горевший к северу от нас, в Эйтоне. К нам присоединилась мать, которая принесла два пледа, чтобы защитить нас от холода, и мы

простояли у ворот до утра; говорили мы очень мало и шепотом. Движение по дороге не прекращалось всю ночь, потому что многие фермеры из нашей местности записались в бервикские полки добровольцев и теперь мчались во весь опор на смотр. Некоторые из них перед отъездом пропустили на прощание стакан-другой, и мне никогда не забыть одного из них, который промчался мимо на большой белой лошади, размахивая огромной заржавевшей саблей. Проносясь мимо нас, они кричали, что горит северный Бервикский сигнальный огонь и, судя по всему, тревога идет из Эдинбургской крепости.

Некоторые скакали галопом в другом направлении — это были курьеры, посланные в Эдинбург, сын лендлорда, мастер Клейтон — помощник шерифа, и другие. В числе прочих был человек благородного сложения, довольно полный, на саврасой лошади: подъехав к нашим воротам, он спросил что-то насчет дороги. Он снял с головы шляпу, чтобы освежиться, и я увидел удлиненное лицо, добрые глаза и высокий выпуклый лоб, окаймленный прядями рыжих волос.

— Я полагаю, это ложная тревога, — сказал он. — Может быть, мне разумнее было остаться на месте; но теперь, проделав такой

путь, я позавтракаю вместе с полком.

Он пришпорил лошадь и умчался вниз по склону.

— Я хорошо его знаю, — сказал студент, указывая на него кивком головы. — Он эдинбургский адвокат и мастерски пишет стихи. Его зовут Вальтер Скотт.

В то время никто из нас не слышал этого имени; но вскоре после того оно прогремело по всей Шотландии, и мы не раз вспоминали, как в эту ужасную ночь он спрашивал у нас дорогу.

На рассвете мы совсем успокоились. Было пасмурно и холодно, и мать пошла домой, чтобы заварить нам чаю; вдруг на дороге

показался кабриолет, в котором сидели доктор Хорскрофт из Эйтона и его сын Джим. Воротник коричневого докторского пальто был поднят кверху и закрывал доктору уши; он был, по-видимому, в самом мрачном настроении. А случилось вот что: Джим, которому было всего пятнадцать лет, как только поднялась тревога, отправился в Бервик, захватив с собой новенькое отцовское ружье. Отец догонял его всю ночь, и теперь Джим сидел в кабриолете пленником, а сзади него торчал ствол украденного ружья. Вид у него был такой же угрюмый, как и у его отца; он засунул руки в карманы, насупил брови и выпятил нижнюю

губу.

— Все это выдумки! — закричал громким голосом доктор, проезжая мимо нас. — Не было никакого десанта, а все дураки в Шотландии зачем-то ринулись сами не знают куда.

Услышав такие слова, Джим огрызнулся, а отец двинул его по голове кулаком так, что бедняга ударился подбородком о грудь. Мой отец покачал головой, потому что он любил Джима; потом мы все пошли в дом, валясь с ног от усталости: у нас слипались глаза, но на душе было так легко, как после этого бывало со мной всего раз или два за всю жизнь.

Впрочем, все это почти не имеет

никакого отношения к тому, о чем я хочу рассказать моим читателям; просто если у человека хорошая память, а умения мало, то к одной мысли у него прицепляется целый хвост других. Впрочем, теперь, вспоминая о случившемся тогда, я вижу, что все это имело некоторое отношение к моему рассказу: дело в том, что доктор Хорскрофт так рассердился на своего сына, что отправил его в Бервикскую школу, а так как мой отец давно хотел послать меня туда же, то и он воспользовался этим случаем.

Но прежде, чем рассказать об этом заведении, вернусь к тому, с чего бы я должен был начать, и дам

вам некоторое понятие о себе — кто я такой, потому что, может быть, книга моя дойдет и до тех, кто живет за пограничной областью и никогда не слышал о Колдерах из Вест-Инча.

Вест-Инч! Название это звучит очень громко, но обозначало оно отнюдь не красивое имение с хорошим домом. Вест-Инч состоял из обширного овечьего выгона с выщипанной травой, по которому свободно гулял ветер и который местами спускался до самого морского берега; человек, живущий умеренно, должен был здесь работать не покладая рук только для того, чтобы заплатить поземельный налог и есть по воскресеньям масло



вместо патоки. Посредине стоял серый каменный дом, крытый черепицей, позади которого находился скотный двор, а над дверной притолокой была высечена на камне цифра 1703. Здесь более ста лет жили наши предки, которые наконец, несмотря на свою бедность, заняли видное место среди местных жителей, потому что в деревне старый йомен порой пользуется большим уважением, чем лендлорд.

Наш дом в Вест-Инче был замечателен в одном отношении: землемеры и другие сведущие люди вычислили, что пограничная линия между двумя странами проходит как раз посредине его и разделяет одну

из спален на две половины — английскую и шотландскую. А кровать, на которой я всегда спал, была поставлена так, что моя голова приходилась на север от пограничной линии, а ноги — на юг от нее. Мои приятели говорят, что, если бы кровать была поставлена иначе, у меня не было бы таких рыжих волос и мой ум не отличался бы такой обстоятельностью. Сам же я знаю только одно: не раз и не два, когда мой шотландский ум не мог придумать, как избежать опасности, меня выручали здоровые, крепкие английские ноги. Однако в школе меня часто дразнили «половиной напополам»,

или

«Великобританией», а иногда «английским флагом». Когда происходило сражение между шотландскими и английскими мальчиками, одна сторона била меня по ногам, а другая отвешивала затрещины, а затем обе стороны принимались хохотать, как будто тут было что-то смешное.

Поначалу я не прижился в Бервикской школе. Старшим учителем у нас был Бертуистл, а младшим Адамс, но я не любил ни того, ни другого. Я был робок и вял от природы, не умел расположить к себе учителей и завести товарищей. По прямой от Бервика до Вест-Инча девять миль, а по дороге —

одиннадцать с половиной, и я тосковал, потому что было далеко от матери. В этом возрасте мальчики говорят, что не нуждаются в ласках матери, но как грустно делается, когда тебя поймают на слове! Наконец я не мог больше этого выносить и решился бежать из школы. Однако в самую последнюю минуту мне удалось заслужить похвалу всех и каждого, начиная от старшего учителя и кончая последним слугой, после чего жизнь в школе сделалась для меня легкой и приятной; а все это благодаря тому, что я случайно упал из окна второго этажа.

Вот как это случилось. Однажды

вечером меня ударил ногой Нед Бертон, первый забияка, и эта обида в соединении с другими огорчениями переполнила чашу моих страданий. В эту ночь я, спрятав заплаканное лицо под одеяло, поклялся, что следующее утро встречу если не в Вест-Инче, то на дороге к нему. Наша спальня была на втором этаже, но я отлично умел лазить, и у меня не кружилась голова на большой высоте. Мне ничего не стоило, привязав к ноге веревку, спуститься с крыши высотой в тридцать пять футов. Поэтому мне нечего было бояться, что я не выберусь из спальни. Я дождался, когда ученики перестали кашлять и ворочаться: это ожидание показалось

мне целой вечностью. Наконец все заснули; тогда я потихоньку встал с постели, кое-как оделся, взял сапоги в руку и подошел на цыпочках к окну. Отворив окно, я выглянул наружу. Подо мной был сад, а рядом — толстый сук груши, который ничего не стоило достать рукой. Для ловкого мальчика он мог служить отличной лестницей. Из сада же оставалось перелезть через стену, пять футов вышины, и тогда меня отделяло бы от дома одно только расстояние. Крепко ухватившись одной рукой за сук, я уперся коленом и другой рукой в подоконник и хотел уже вылезти из окна, как вдруг остановился и словно окаменел. Из-за стены на меня

смотрело чье-то лицо. Я застыл на месте, увидев, до чего оно бледно и неподвижно. Оно было освещено луной, глаза медленно двигались, озираясь вокруг, но я был скрыт от них листвой грушевого дерева. Затем лицо поднялось вверх, точно от толчка, показались шея, плечи и колени мужчины. Сев на стену, он с большим усилием поднял вслед за собой мальчика, одинакового со мною роста, который время от времени тяжело вздыхал, как будто глотая слезы. Мужчина встряхнул его и вполголоса выругался, после чего оба они спустились со стены в сад. Я все стоял, поставив одну ногу на сук, а другую на подоконник, не смея

шевелинуться, чтобы не привлечь к себе их внимание, но мне было слышно, как они крадутся в тени здания. Вдруг прямо у меня под ногами раздалось какое-то царапанье, а затем резкий звон падающего стекла.

— Готово, — шепотом сказал мужчина. — Теперь пролезешь.

— Но края режутся! — воскликнул мальчик слабым дрожащим голосом.

Мужчина так выругался, что меня продрал мороз по коже.

— А ну полезай, щенок! — рявкнул он, — Не то...

Я не видел, что он сделал, но вслед за тем послышался крик боли.



— Лезу! Лезу! — закричал мальчик.

А больше я уже ничего не слышал, потому что у меня вдруг закружилась голова и моя пятка соскользнула с сука. Я испустил ужасный крик и всей тяжестью своего тела, в котором было девяносто пять фунтов, рухнул прямо на согнутую спину вора. Если вы спросите меня, почему я это сделал, я отвечу вам, что и сам до сих пор не знаю толком, было ли это простой случайностью или же умыслом. Весьма возможно, я и собирался поступить таким образом, а случай устроил остальное. Вор выставил вперед голову и наклонился, стараясь

пропихнуть мальчика в маленькое окошко, тут-то я и упал на него, на то место, где шея соединяется с хребтом. Он издал какой-то свист, упал ничком и покатился по траве, стуча пятками. Его маленький спутник пустился при лунном свете бежать со всех ног и в один миг перелез через стену. Что же касается меня, то я сидел на земле, орал благим матом и тер рукою одну из ног: ее как будто бы стянули раскаленным докрасна обручем.

Само собою, в сад сбежались все обитатели школы, начиная с главного учителя и кончая последним конюхом, с лампами и фонарями. Дело вскоре объяснилось; вора

положили на ставень и унесли из сада, меня же с большой торжественностью доставили в особенную спальню, где кость мне вправил хирург Парди, младший из двух братьев, носивших эту фамилию. Что касается вора, у него отнялись ноги, и доктора не могли сказать утвердительно, будет он владеть ими или нет. Но закон не стал ждать их окончательного решения, потому что через шесть недель после Карлайлской сессии суда он был повешен. Оказалось, что это был самый отчаянный преступник в Северной Англии, совершивший три убийства, и вообще за ним было столько преступлений,

что его стоило бы повесить не один раз, а десять.

Рассказывая о своем отрочестве, я не могу не упомянуть об этом случае, так как тогда он был самым важным событием в моей жизни. Больше я не буду отклоняться от главного предмета; как подумаю, сколько мне нужно всего сказать, аж страшно делается: когда человек рассказывает только о своей жизни, то и это отнимает у него кучу времени; но когда он принимал участие в таких важных событиях, о каких я буду говорить, то задача и вовсе делается непосильной, особенно с непривычки. Но, слава Богу, у меня такая же хорошая

память, как и раньше, и я постараюсь поведать вам решительно обо всем.

После истории с вором я подружился с Джимом Хорскрофтом, сыном доктора. Он с первого дня поступления в школу был самым смелым в драках и всего через час после приезда перебросил Бертонa, который до него считался самым сильным из учеников, через классную доску. Джим всегда отличался крепкими мускулами и широкой костью и даже в то время был широкоплеч и высок, много не разговаривал, давал волю рукам и очень любил стоять, прислонясь к стене и глубоко засунув руки в карманы брюк. Я даже помню, что

он шутки ради держал во рту сбоку соломинку, именно так, как впоследствии держал трубку. Каким героем он казался нам тогда!

Мы были не больше как маленькие дикари и, подобно дикарям, чувствовали уважение к силе. Был у нас Том Карндел из Эпплбоя, который писал алкаические стихи так легко, будто бы с детства только и знал, что всякие пентаметры и гекзаметры, но никто из учеников не обращал на Тома ни малейшего внимания. Был еще Вилли Ирншоу, который знал решительно все даты, начиная с убийства Авеля, так что к нему обращались за справкой даже

учителя, но у этого мальчика была узкая грудь, хотя он и был высок ростом. И что же, разве помогло ему знание дат, когда Джек Симонс из младшего класса гнал его по всему коридору ремнем с пряжкой на конце. С Джимом Хорскрофтом так не поступали. Какие рассказы о его силе передавали мы друг другу шепотом! Как он проломил кулаком филенку дубовой двери в комнате отдыха, а когда в бейсбольном матче Долговязый Мерридю унес мяч, он схватил Мерридю с мячом, поднял вверх и, минуя всех соперников, добежал до цели. Нам казалось ни с чем несообразным, чтобы такой человек, как он, стал ломать себе

голову из-за каких-то там спондеев и дактилей или непременно знал, кто подписал Великую Хартию. Когда он сказал при всем классе, что ее подписал король Альфред, то мы, маленькие, подумали, что, по всей вероятности, так оно и есть и что уж, наверное, Джим знает лучше, чем тот, кто написал учебник. Ну так вот, случай с вором и обратил на меня его внимание, он погладил меня по голове и сказал, что я храбрый чертенок, и я по крайней мере неделю не чуял под собой ног от гордости. Целых два года мы были с ним очень дружны, и хотя в сердцах или не подумав он часто обижал меня, я любил его как брата и так



плакал, что слез набралось бы целый чернильный пузырек, когда он уехал от нас в Эдинбург, чтобы там изучать профессию своего отца. Я после него пробыл в школе еще пять лет и под конец тоже сделался самым сильным учеником: я был крепким, как китовый ус, хотя, что касается веса и мускулов, я уступал моему знаменитому предшественнику. Я вышел из школы Бертуйстла в год юбилея и после того три года прожил дома, разводя овец. Но корабли на море и армии на суше все еще сражались, и на нашу страну падала грозная тень Бонапарта. Мог ли я знать, что и мне также доведется поспособствовать тому, чтобы тень

эта перестала пугать наш народ?

# Глава вторая

## Кузина Эди из Аймауса

За несколько лет до рассказанных мною происшествий, когда я был еще маленьким мальчиком, к нам приехала погостить недель на пять единственная дочь брата моего отца. Вилли Колдер, поселившийся в Аймаусе, плел рыбачьи сети и этим плетением добывал больше, чем мы в Вест-Инче, где на песчаной почве рос один лишь вереск. Его дочь, Эди Колдер, приехала в гости в

хорошеньком красном платице и шляпке, которая стоила пять шиллингов, с чемоданом, наполненным вещами, на которые моя мать смотрела с большим удивлением. Нам казалось странным, что эта девочка тратит так много денег: она дала извозчику столько, сколько он с нее запросил, и прибавила еще два пенса. Она пила имбирное пиво, как мы воду, и требовала, чтобы в чай ей клали сахару, а с хлебом подавали масло, точно она была англичанкой.

Я тогда не обращал большого внимания на девочек, потому что не понимал, на что они могут быть годны. В школе мы не придавали им

никакого значения; впрочем, ученики постарше думали несколько иначе. Мы, малыши, все были одинакового мнения: какая может быть польза от существа, которое не умеет драться, постоянно сплетничает, а если запустить в него камнем, начинает трястись, точно тряпка под ветром? А еще они напускают на себя такую важность, точно отец и мать в одном лице, и пристают со всякими глупостями вроде: «Джимми, у тебя виден палец из сапога» или: «Ступай домой, грязный мальчишка, и умойся», так что на них делается противно смотреть.

Поэтому, когда вышеупомянутая девочка поселилась в Вест-Инче, я

не особенно обрадовался. Мне тогда исполнилось двенадцать лет (это было на праздник), а ей — одиннадцать; она была худенькой девочкой, довольно высокой, с черными глазами и очень смешными манерами. Ока всегда смотрела перед собой, разинув рот, будто видела что-то удивительное; но когда я становился позади нее и смотрел в ту же сторону, куда глядела и она, то не видел ничего, кроме поилки для овец, или навозной кучи, или же отцовского нижнего белья, висящего на жерди для просушки. А если она видела поляну, поросшую вереском или папоротником, или какие-нибудь самые обыкновенные вещи в этом же

роде, то начинала  
сентиментальничать, как будто бы  
это поразило ее. Вскрикивала: «Как  
мило! Как чудесно!» — как будто бы  
перед ней была нарисованная  
картина. Она не любила никаких игр,  
и, хотя я заставлял ее играть в  
пятнашки и в другие игры, с ней  
было совсем неинтересно, потому  
что я мог поймать ее в три прыжка, а  
ей никогда не удавалось поймать  
меня, а когда она бежала, то махала  
руками и топала, как десяток  
мальчиков. Когда я говорил, что она  
ни на что не годна и что отец зря  
воспитывает ее таким образом, она  
принималась плакать и говорила, что  
я грубый мальчик и что она нынче же

вечером уедет домой и во всю жизнь не простит меня. Но через пять минут она совершенно забывала свою обиду. Странно, что она любила меня больше, чем я ее, никогда не оставляла меня в покое, ходила за мной по пятам и говорила: «А, так вот ты где!» — как будто мы встретились случайно. Впрочем, в ней было кое-что и хорошее: она иногда давала мне пенни, так что однажды у меня в кармане собралось целых четыре пенса. А всего лучше было то, что она умела рассказывать разные истории. Так как она страшно боялась лягушек, то я обыкновенно приносил лягушку и говорил, что засуну ей лягушку за платье, если она



не расскажет мне что-нибудь. Уловка всегда удавалась, и она начинала рассказывать; ей стоило только начать, а уж дальше она говорила как по писаному. У меня захватывало дух, когда я слушал о ее приключениях. В Аймаус приезжал какой-то варварский пират, который опять приедет через пять лет на корабле, наполненном золотом, и женится на ней; а потом там был странствующий рыцарь, который дал ей кольцо и сказал, что выкупит его, когда придет время. Она показывала мне кольцо, очень похожее на те, что были пришиты к пологам моей кровати, но она утверждала, что ее кольцо из чистого золота. Я

спрашивал у нее, что же сделает рыцарь, если встретится с варварским пиратом, и она говорила в ответ, что он снесет ему с плеч голову. Я никак не мог понять, что такого находили в ней все эти люди. Еще она говорила, что ее провожал в Вест-Инч переодетый принц. Я спросил, как же она узнала, что это принц, а она ответила: «Потому что он был переодет». В другой раз она сказала, что ее отец придумывает загадку, а когда придумает, то напечатает в газетах, и тот, кто ее отгадает, получит половину его состояния и руку его дочери. Я сказал на это, что хорошо умею отгадывать загадки и что она должна

прислать ее мне, когда та будет придумана. Она ответила, что загадка будет напечатана в «Бервикской газете», и пожелала узнать, что я сделаю с ней, когда получу ее руку. Я ответил на это, что продам ее с аукциона за столько, сколько за нее дадут; в этот вечер она больше не стала ничего рассказывать, потому что была чем-то очень обижена.

Пока кузина Эди гостила у нас, Джима Хорскроф-та не было дома, но он вернулся на той неделе, когда она уехала, и, помню, я очень удивился, когда он стал о ней расспрашивать. Он спросил у меня, хороша ли она собою, а когда я

ответил, что я этого не заметил, он засмеялся, назвал меня кротом и сказал, что придет время, когда у меня откроются глаза. Впрочем, вскоре он занялся другими делами, а что касается меня, то я не вспоминал об Эди до тех пор, пока она не взяла в свои руки мою жизнь и не стала вертеть ею так же, как я верчу это перо.

Это было в 1813 году, после того как мне исполнилось восемнадцать лет и я вышел из школы: на моей верхней губе уже показалось волосков с сорок, и была надежда, что их вырастет еще больше. Со мной произошла перемена: игры уже не занимали меня так, как прежде,

вместо этого я подолгу лежал на освещенных солнцем склонах холмов, разинув рот и смотря во все глаза, совершенно так, как это делала прежде кузина Эди. Прежде мне было довольно того, что я бегаю быстрее и прыгаю выше соседа по школьной скамье, это наполняло смыслом всю мою жизнь; теперь все это казалось совсем неважным: я все о чем-то грустил, глядя вверх на высокий небесный свод и вниз на поверхность синего моря, и чувствовал, что мне чего-то недостает, но не мог выразить, чего именно. И, кроме того, я сделался очень вспыльчивым: у меня, по-видимому, были расстроены нервы,

и, когда моя мать спрашивала, что такое со мной, или отец говорил, что пора заняться делом, я отвечал так резко, что сам впоследствии сожалел об этом. Ах! У человека может быть не одна жена, он может иметь несколько детей, но у него никогда не будет другой матери, и поэтому пусть он обращается с ней нежно, пока может.

Однажды, вернувшись домой от овец, я увидал, что отец сидит с письмом в руке; такое случалось очень редко, разве только в тех случаях, когда фактор писал, что пора платить поземельный налог. Я подошел и увидел, что отец плачет. Я стоял и смотрел на него во все глаза:

я всегда думал, что мужчине это не подобает. Я и сейчас его вижу очень ясно: на его загорелой щеке была глубокая морщина, через которую слезы не могли перелиться, поэтому они текли вкось к ушам и оттуда падали на лист бумаги. Около него сидела мать и гладила его руки, как гладила по спине кошку, когда хотела ее успокоить.

— Да, Дженни, — сказал он, — не стало бедного Вилли. Это письмо от его поверенного. Смерть была внезапная, иначе нас известили бы раньше. Поверенный пишет, что у него был карбункул и кровоизлияние в мозг.

— Ах, теперь его страдания

прекратились, — сказала мать.

Отец обтер уши постланной на стол скатертью.

— То, что он скопил, он оставил своей дочери, — сказал он, — и если только она не переменилась, то она скорехонько все истратит. Ты помнишь, что она говорила о слабом чае, когда жила у нас, а ведь чай стоит семь шиллингов за фунт.

Мать покачала головой и посмотрела на окорока ветчины, свисающие с потолка.

— Поверенный не пишет, сколько именно оставил покойный, только говорит, что ей хватит с избытком. Он пишет также, что она приедет сюда и будет жить с нами,



потому что таково его предсмертное желание.

— Пускай платит за свое содержание! — закричала резким тоном мать. Меня огорчило, что она в такое время заговорила о деньгах, но не позаботься она об этом, через год мы были бы выброшены на большую дорогу.

— Да, она будет платить и приедет к нам сегодня же. Послушай, Джек, сын мой, поезжай-ка ты в Эйтон и дождись там вечернего дилижанса. В нем приедет твоя кузина Эди, и ты привезешь ее в Вест-Инч.

В четверть шестого я запряг старого Джонни в нашу телегу, у

которой был недавно выкрашен задок и в которой мы ездили только по праздникам. Дилижанс прибыл чуть раньше, и я, глупый деревенский парень, не принимая в расчет того, что прошло несколько лет, искал в толпе, стоящей перед постоялым двором, худенькую девочку, в юбочке до колен. Пока я толкался и вытягивал шею, как журавль, меня вдруг кто-то тронул за локоть, и я увидел на подножке даму в черном; я понял, что это и есть моя кузина Эди. Я понял, говорю, но если бы она меня не тронула, я прошел бы мимо двадцать раз и ни за что не узнал бы ее. Честное слово, если бы Джим Хорскрофт спросил у меня теперь,

хорошенькая она или нет, я сумел бы ему ответить! Она была смуглая, гораздо смуглее девушек в нашей пограничной области, с легким румянцем, пробивающимся сквозь смуглый цвет кожи, подобно яркому тону в нижней части лепестков чайной розы. У нее были пунцовые губы, выражающие доброту и твердость; и затем я заметил плутовской и насмешливый огонек, который таился в глубине ее больших черных глаз, показываясь на минуту и опять скрываясь. Она обошлась со мной так, будто бы я достался ей по наследству: величаво и покровительственно протянула мне руку. Она была, как я уже сказал, в

черном: платье на ней было какого-то удивительного фасона, черная вуаль откинута назад.

— Ах, Джек, — сказала она, жеманясь на английский манер, — этому она научилась в пансионе. — Нет-нет, мы теперь уже не маленькие.

Эти слова она произнесла, потому что я самым неуклюжим образом приблизил к ней свое глупое загорелое лицо, чтобы поцеловать ее, как тогда, когда виделся с ней последний раз.

— Влезьте поскорее наверх, голубчик, и дайте шиллинг кондуктору, он был необыкновенно учтив со мной всю дорогу.

Я покраснел до ушей, потому что у меня в кармане была только одна четырехпенсовая серебряная монета. Никогда я не ощущал свою бедность так сильно, как в ту минуту. Но она сразу поняла, в чем дело, и мигом всунула мне в руку кожаный кошелек с серебряным замочком. Я заплатил кондуктору и хотел отдать кошелек назад, но она пожелала, чтобы он остался у меня.

— Вы будете моим кассиром, Джек, — сказала она со смехом. — Это ваш экипаж? Какой смешной! Где же мне сесть?

— На сиденье, — отвечал я.

— А как на него забраться?

— Поставьте ногу на ступицу

колеса, я вам помогу.

Я вскочил в телегу и взял в свою руку обе ее маленькие ручки в перчатках. Когда она взбиралась наверх, я почувствовал на своем лице ее дыхание, душистое и теплое, и казалось, что все, что было смутного и беспокойного у меня на душе, отлетело в одну минуту. Я почувствовал, что за эту одну минуту я возмужал и сделался совсем другим человеком.

Лошадь, наверное, едва успела махнуть хвостом, — времени прошло не больше, — а между тем со мной что-то произошло, упала некая преграда, и я зажил новой, более зрелой жизнью. Все это я ощутил в

один миг, но так как я был робок и необщителен, то только оправил для нее сиденье. Она следила глазами за дилижансом, который, гремя колесами, покотил назад в Бервик, и вдруг начала махать платком.

— Он снял шляпу, — сказала она. — Должно быть, он офицер. Очень изящный мужчина. Может быть, вы его заметили? Джентльмен, который занимал место в империале, очень красивый, в коричневом пальто.

Я покачал головой, и радость уступила место глупой злобе.

— Ах, я никогда больше не увижу его! Эти зеленые склоны холмов и серая вьющаяся лентой

дорога — все, как и прежде. Да и в вас, Джек, я не вижу большой перемены. Кажется, только манеры у вас стали получше. Ведь вы не будете больше пускать мне за спину лягушек, не будете? Я начинаю дрожать при одной только мысли об этом.

— Мы сделаем все, чтобы вам хорошо жилось в Вест-Инче, — сказал я, помахивая бичом.

— Вы такие добрые, право, что приняли к себе бедную, одинокую девушку, — сказала она.

— Это — любезность с вашей стороны, что вы едете к нам, кузина Эди, — проговорил я, заикаясь. — Но я боюсь, вам покажется у нас скучно.



— Ведь у вас тут мало развлечений, да, Джек? Кажется, у вас почти нет соседей-мужчин, ведь так?

— Да, разве что майор Элиот, который живет в Корримюре. Он иногда приходит к нам по вечерам. Он бравый старый служака, был ранен пулей в колено, когда служил под началом Веллингтона.

— Ах, когда я говорю о мужчинах, Джек, это вовсе не значит, что я говорю о стариках, раненных в колено. Я говорю о людях нашего с вами возраста, с которыми можно было бы познакомиться. Да, кстати, — кажется, у этого старого ворчуна доктора был сын?

— Да. Джим Хорскрофт, мой закадычный друг.

— А что, он живет дома?

— Нет, но скоро вернется. Сейчас он в Эдинбурге, он там учится.

— Ну так мы будем проводить время вдвоем, до тех пор, пока он не вернется. Но я очень устала и хотела бы поскорее доехать до Вест-Инча.

Я заставил старика Джонни приналечь, и через час после этого разговора она уже сидела за ужином; моя мать поставила на стол не только масло, но даже хрустальную тарелку с вареньем из крыжовника; тарелка эта очень красиво блестела при свете свечи.

Я видел, что и родители мои так же, как я, поражены происшедшей с ней переменой, хотя у них это выражалось иначе.

Моя мать так поразилась тому, что у нее на шее надето что-то из перьев, что называла ее не просто Эди, а мисс Колдер, так что наконец моя кузина, у которой были такие милые, грациозные манеры, стала поднимать кверху указательный пальчик всякий раз, как слышала это. После ужина, когда она пошла спать, мои родители только и говорили о том, какой у нее вид и как она воспитана.

— Впрочем, надо сказать, — заметил мой отец, — что-то не

видно, чтобы она особенно горевала.

И только тут я вспомнил, что с тех пор как я с ней встретился, она не сказала ни слова о своей утрате.

# Глава третья

## Тень на море

В скором времени кузина Эди сделалась в Вест-Инче королевой, а мы все, начиная с отца — ее покорными подданными. Когда мать сказала, что ее содержание обойдется не дороже четырех шиллингов в неделю, Эди, по своей доброй воле, назначила плату в семь шиллингов и шесть пенсов. Ей отдали комнату, выходящую на юг, где было всего больше солнца и окно обвито жимолостью; чтобы обставить ее, она привезла из Бервика восхитительные вещи. Она

ездила туда два раза в неделю, но наша телега показалась ей неподходящей, так что она нанимала двухколесный фаэтон у Энгуса Уайтхеда, ферма которого стояла за холмом. И она почти всякий раз привозила подарки: деревянную трубку отцу, шотландский плед матери, какую-нибудь книгу мне, медный ошейник для Роба — нашей овчарки. Кажется, не было на свете женщины щедрее ее.

Но самым лучшим подарком для нас было ее присутствие. Благодаря ему даже окрестности приняли для меня иной вид: с того дня как она приехала, солнце светило ярче, склоны холмов казались зеленее и

воздух приятнее. Наша жизнь уже не была однообразною, как прежде: мы удостоились общества такой замечательной девушки, и старый мрачный серый дом казался мне совсем другим с тех пор, как она прошла по циновке, лежащей у входной двери. Не лицо ее, хотя оно было привлекательным, и не фигура, хотя я не видывал девушки, которая могла бы сравняться с ней статью, но ее ум, ее оригинальное обращение, в котором проглядывала насмешка, ее новая для нас манера говорить, гордо везти за собой шлейф и скидывать голову, заставляли почувствовать себя простой землей под ее ногами; но вдруг ее быстрый, вызывающий на

откровенность взгляд и доброе слово опять ставили вас на один уровень с нею. Впрочем, не совсем на один уровень. Мне всегда казалось, что она стоит выше меня и ушла далеко вперед. Я мог убеждать самого себя, бранить себя и делать, что мне угодно, но не мог заставить себя думать, что в наших жилах течет одна и та же кровь и что она всего лишь деревенская девушка, так же как я — всего лишь деревенский парень. Чем больше я любил ее, тем больше я ее боялся, и она поняла, что я боюсь ее, раньше, чем распознала мою любовь. Когда я был не с ней, я находился в тревожном состоянии, а когда был с ней, то дрожал все время, потому что



боялся надоесть ей своими нескладными речами или чем-нибудь оскорбить ее. Если бы я тогда лучше знал женщин, то не стал бы так мучиться.

— Вы очень переменялись, Джек, и стали совсем не таким, как прежде, — сказала она как-то раз, искоса поглядывая на меня из-под своих черных ресниц.

— А когда мы с вами встретились, то вы сказали, что я не очень переменялся, — заметил я.

— Ах! Тогда я говорила о том, что вы не очень переменялись на вид, а теперь говорю о вашей манере держать себя. Прежде вы обращались со мной так грубо, так повелительно,

все хотели делать по-своему, точно маленький мужчина. Я помню ваши всклокоченные волосы и плутовские глаза. А теперь вы такой кроткий, такой скромный и говорите так тихо.

— С годами человек привыкает держать себя как следует, — заметил я.

— Ах да, но скажу вам, Джек, что в прежнем виде вы нравились мне гораздо больше.

Я посмотрел на нее с удивлением: я думал, что она не может мне простить того, как я обращался с ней. Я решительно не мог понять, как человеку в здравом уме это могло нравиться. Я вспомнил, что, когда она читала,

сидя у входной двери, я выходил во двор с хлыстом из орешника, на конце которого было шесть маленьких глиняных шариков, и бросал в нее этими шариками, чем доводил ее до слез. Потом я вспомнил, как поймал угря в ручейке в Корримюре и с ним гонялся за ней, пока наконец она с криком не прибежала к моей матери и не спряталась под ее фартук; отец ударил меня по уху половником, что сшибло меня с ног, и я вместе с угрем покатился под кухонный шкаф для посуды. И этого ей теперь недостает. Все равно она больше ничего такого не увидит, потому что у меня скорее отсохнет рука, чем я стану так

поступать. Но только теперь я стал понимать эту странность женского характера, а также то, что мужчина не должен рассуждать о женщине, только наблюдать и стараться понять ее.

Вскоре у нас с ней установились известные отношения: она поняла, что может делать что угодно и как угодно, может распоряжаться мной точно так же, как я распоряжался старым Робом. Думаете, я был глуп, что позволил вскружить себе голову? Может быть, я действительно был глуп, но при этом вы должны помнить, что раньше я совсем не видал женщин, а теперь нам часто приходилось быть вместе. Кроме

того, она была не из простых женщин, и нужно иметь очень крепкую голову, чтобы она ее не вскружила.

Да вот хоть бы майор Элиот, человек, который схоронил трех жен и участвовал в двенадцати настоящих сражениях, — и его Эди могла обернуть кругом своего пальчика, точно мокрую тряпку, — она, девушка, только что вышедшая из пансиона. Я встретил его, когда он шел, прихрамывая, из Вест-Инча, в первый раз после того как она приехала, с румянцем на щеках и блестящими глазами, так что казался лет на десять моложе. Он закручивал свои седые усы до самых глаз и так

гордо выступал здоровой ногой, точно музыкант, играющий на духовом инструменте. Бог знает, что она сказала ему, но только ее слова подействовали на его кровь точно старое вино.

— Я шел к тебе, парень, — сказал он, — но, как видишь, не застал. Впрочем, я приходил не задаром, потому что имел возможность увидеть *ta belle cousine*<sup>[1]</sup>.

Прелестная, очаровательная молодая особа, скажу тебе, парень.

Он выражался очень правильно и точно, и любил иногда ввернуть в свою речь какое-нибудь французское слово, потому что в бытность свою

на континенте немножко научился этому языку. Он так и продолжал бы говорить о кухне Эди, но я увидел, что из кармана у него торчит уголок газеты, и понял, что он, по своему обыкновению, приходил к нам сообщить последние новости: мы, живя в Вест-Инче, почти ни о чем не слыхали.

— Что новенького, майор? — спросил я.

Он вытащил из кармана газету и помахал ею.

— Союзники одержали большую победу, сын мой. Думаю, Наполеон не сможет долго сопротивляться. Саксонцы оттеснили его, и он был совершенно разбит при Лейпциге.

Веллингтон перешел Пиринеи, и полки Грэма скоро будут в Болонье.

Я подбросил вверх свою шляпу.

— Значит, войне скоро конец! —

воскликнул я.

— Да и пора, — сказал он, строго кивнув. — Это была кровопролитная война. Ну теперь уже не стоит говорить о том, какой план был у меня в голове относительно тебя.

— Какой план?

— Да вот какой, мой милый: у тебя тут нет настоящего дела, а так как теперь колено у меня стало лучше разгибаться, я надеялся опять поступить на службу в действующую армию. Я думал, что и ты мог бы



пойти в солдаты и послужить под моим начальством.

При одной мысли об этом у меня сильно забилося сердце.

— Как бы я этого хотел! — воскликнул я.

— Но ведь пройдет не меньше шести месяцев, прежде чем я буду в состоянии сесть на корабль, а почему знать, может быть, Бони<sup>[2]</sup> к тому времени будет уже где-нибудь в заточении.

— А что скажет моя мать? — спросил я. — Она меня ни за что не отпустит.

— Ах, да теперь ее и спрашивать не нужно, — ответил он и пошел, прихрамывая, своей дорогой.

Я сел на землю среди вереска и, подперев подбородок рукой, задумался, глядя вслед майору, который шагал вперед в своем старом коричневом платье и сером пледе, конец которого развевался по ветру, выбирая место, где удобнее идти вверх по холму. Здесь, в Вест-Инче, где я обречен оставаться до тех пор, пока не займу место отца, — жалкая жизнь: перед моими глазами вечно будут та же пустошь, тот же ручей, те же овцы и тот же серый дом. Ко там, за синим морем! Там настоящая жизнь для мужчины. Вот майор — он человек не молодой, искалеченный и усталый, но и он думает о том, чтобы опять поступить

на службу, а я, юноша в полной силе, трачу понапрасну время на склонах этих холмов.

Яркий румянец стыда залил мне лицо, и я вскочил с места, горя нетерпением поскорее уехать отсюда и жить как подобает мужчине. Я раздумывал об этом целых два дня, и вот на третий день случилось нечто такое, что заставило меня принять решение, которое потом, правда, рассеялось, точно дым в воздухе.

После полудня я пошел погулять с кузиной Эди и Робом: мы спустились по склону холма до самого морского берега. То было поздней осенью, и вереск завял и окрасился в бронзовый цвет, но

солнце все еще светило ярко, было тепло и по временам дул теплый, южный ветерок, от которого поверхность моря покрывалась рябью с белыми волнистыми линиями. Я нарвал папоротников, чтобы Эди могла прилечь, и вот она лежала, как и всегда, с беспечным видом, веселая и довольная: я не встречал больше никого, кто так наслаждался бы теплом и светом, как она; я присел на кучку травы, а Роб положил мне голову на колени; мы сидели совершенно одни в этом диком месте, но даже и здесь нас настигла тень находившегося за морем великого человека, который красными буквами начертал свое имя

на карте Европы.

По морю плыл степенный черный купеческий корабль, направлявшийся, вероятно, в Лит. У него были длинные реи, и он шел на всех парусах. В другом направлении, с северо-востока, шли два больших, неуклюжих, похожих на люгеры судна, каждое с высокою мачтой и большим четырехугольным серым парусом. Что могло быть прекраснее вида трех судов, плывущих по морю в такую прекрасную погоду! Но вдруг на одном, а потом и на втором показались огонь от выстрела и клуб синего дыма, с корабля послышалась пушечная пальба. В один миг ад заменил собою рай, явив ненависть,

жестокосердие и жажду крови.

Услышав выстрелы, мы вскочили на ноги, и Эди, которая дрожала как осиновый лист, схватила меня за руку.

— Они сражаются, Джек, — воскликнула она. — Что это за люди? Кто они?

У меня при пушечных выстрелах сильно забилося сердце, и я, задыхаясь, едва смог ответить:

— Это два французских капера, Эди. Французы называют их *chasse-marées*<sup>[3]</sup>, а вон там наш купеческий корабль, и они захватят его — умереть мне на этом месте; потому что, майор говорил, на них всегда бывают пушки большого калибра, а

матросов как сельдей в бочонке. Отчего этот глупый корабль не плывет назад к молу в устье Твида?

Но корабль и не думал спускать паруса — он, тяжело зарываясь в воду, продолжал плыть дальше, что было глупо с его стороны; внезапно черное ядро ударило в верхний конец его бизань-реи, сбив вниз флаг. Затем последовали выстрелы небольших корабельных пушек и громкая пальба больших каронад с кормы капера. Через минуту все три судна сошлись вместе, и купеческий корабль метался, подобно оленю, в бедра которого вцепились зубами два волка. Все три силуэта слились в одно черное пятно с неясными

очертаниями, окутанное дымом, из которого торчали, точно щетина, мачты и беспрестанно выскакивали красные огоньки; шла такая страшная пальба из пушек большого и мелкого калибра, что после у меня в течение нескольких недель гул стоял в ушах. Битый час облако, содержащее в себе сущий ад, медленно двигалось по воде, а мы, с замершими сердцами, не спускали глаз с флага, стараясь разглядеть, все ли он на своем месте. И вот корабль, такой же гордый, как прежде, поплыл дальше своим путем; а когда рассеялся дым, то мы увидали, что один из люгеров тащится по воде, точно утка с подбитыми крыльями, а экипаж



другого спешит перебраться в шлюпки прежде, чем он затонет.

В продолжение этого часа я ничего не видел и не слышал, кроме битвы. У меня снесло ветром шляпу, но я этого не заметил. Теперь, с сердцем, преисполненным радости, я повернулся к кухне Эди и увидал ее такою, какой видел шесть лет тому назад. У нее были те же удивленные, застывшие глаза и разинутый рот, как и когда она была еще девочкой, и она так крепко сжала свои маленькие ручки, что костяшки стали похожи на слоновую кость.

— Ах, этот капитан! — воскликнула она, обращаясь к вересковой пустоши. — Какой

сильный и решительный мужчина!  
Какая женщина не стала бы  
гордиться таким мужем!

— Да, он храбро сражался! —  
воскликнул я с восторгом.

Она посмотрела на меня так,  
будто совсем позабыла о моем  
присутствии.

— Я отдала бы целый год жизни  
за то, чтобы встретить такого  
человека, — промолвила она. — Но  
что значит жить в деревне! Тут  
только и видишь людей, которые ни  
на что не способны.

Уж не знаю, хотела она обидеть  
меня или нет, хотя за этим у нее,  
бывало, дело не станет: но каково бы  
ни было ее намерение, ее слова

задели меня за живое.

— Очень хорошо, кузина Эди, — сказал я, стараясь говорить спокойным тоном. — Этим все сказано.

Сегодня же вечером я отправляюсь в Бервик и запишусь в вольноопределяющиеся.

— Как, Джек! Вы будете солдатом?

— Да, если вы думаете, что всякий, кто живет в деревне, — трус.

— О, вы будете очень красивы в красном мундире, Джек, и вы делаетесь гораздо лучше, когда выходите из себя. Я хотела бы, чтобы у вас всегда так сверкали глаза, потому что это придает вам

мужественный вид. Но я уверена, что вы шутите, когда говорите, что поступите на военную службу.

— Вот я вам покажу, шучу я или нет.

После этих слов я со всех ног побежал по пустоши и ворвался в кухню, где отец и мать сидели по обе стороны печи.

— Мама, — крикнул я, — я иду записываться в солдаты!

Если бы я сказал, что собираюсь сделаться вором, они посмотрели бы на меня точно такими же глазами, потому что в те времена из среды скромных и кротких деревенских жителей только паршивые овцы уходили в военное стадо. Но, честное

слово, эти самые паршивые овцы оказали своей родине не одну важную услугу. Моя мать подняла руки в митенках к глазам, а отец почернел, как торф.

— Что такое, Джек? Ты с ума сошел? — спросил отец.

— Сошел я с ума или нет, но только я ухожу.

— Когда так, я не дам тебе благословения.

— Ну так я уйду без него!

При этих словах мать вскрикнула и обхватила меня руками за шею. Я увидел ее руки, костлявые, загрубелые от работы, которую ей приходилось делать для того, чтобы вырастить меня, и это подействовало

на меня сильнее всяких слов. Мое сердце было полно нежности к ней, но моя воля была тверда как камень. Я посадил ее опять на стул, поцеловал и побежал в свою комнату, чтобы собрать вещи. Становилось уже темно, а мне предстояло идти далеко, поэтому, связав кое-что в узелок, я поспешил выйти из дому. Когда я выходил через заднюю дверь, кто-то притронулся к моему плечу: в темноте стояла Эди.

— Глупый мальчик, — сказала она, — неужели вы и в самом деле уйдете?

— Уйду? Увидите.

— Но ведь ваш отец против, да и мать тоже.

— Я знаю.

— Так зачем нее вы уходите?

— Вам-то, кажется, следовало бы знать.

— Скажите зачем?

— Потому что вы меня заставляете!

— Я не хочу, чтобы вы уходили, Джек.

— Вы сами сказали. Вы сказали, что те, кто живет в деревне, ни на что не способны. Вы всегда так говорите. Вы думаете обо мне не больше, чем о голубях в голубятне. Вы считаете меня ничтожеством. Я докажу, что я не таков.

Я высказал ей все, что наболело в душе. Она покраснела и

посмотрела на меня, по своему  
обыкновению, странным,  
полунасмешливым и полусердитым  
взглядом. — О, я думаю о вас так  
мало? — спросила она. — И по этой  
причине вы уходите из дома? Когда  
так, Джек, то останетесь ли вы, если  
я... если я буду ласкова с вами?

Мы стояли лицом к лицу, очень  
близко друг к дружке, и в одну  
минуту дело было сделано. Я схватил  
ее в объятия и целовал, целовал без  
конца, целовал губы, щеки, глаза,  
прижимал ее к своему сердцу и  
шептал ей, что она для меня все на  
свете, что я не могу жить без нее.  
Она ничего не говорила, но прошло  
немало времени, прежде чем она



отвернула от меня свое лицо, и когда она оттолкнула меня, то сделала это не очень сильно.

— Да вы опять стали таким же грубым и дерзким, как прежде, — сказала она, приглаживая обеими руками волосы. — Вы на мне все смяли, Джек; я никогда не думала, что вы такой смелый!

Но я больше не боялся ее, кровь во мне кипела от любви; которая сделалась в десять раз горячее, чем прежде. Я снова схватил ее в свои объятия и поцеловал, как будто бы имел на это право.

— Теперь вы моя, — воскликнул я. — Я не пойду в Бервик, я останусь здесь и женюсь на вас.

Но когда я сказал, что женюсь на ней, она засмеялась.

— Глупый мальчик! Глупый мальчик! — проговорила она, когда я опять попытался обнять ее, сделала грациозный реверанс и убежала в дом.

# Глава четвертая

## Выбор Джима

После этого начались десять недель, похожие на сон, они представляются мне сном и теперь, когда я вспоминаю о них. Я могу наскучить вам, если стану рассказывать, что происходило между нами; но какое огромное значение имело для меня все это в то время! Ее своеволие, ее постоянно меняющееся настроение, то веселое, то мрачное, как луг, над которым проносятся облака, ее беспричинный гнев и сейчас же вслед за тем раскаяние — все это наполняло мою

душу то радостью, то печалью: в этом была вся моя жизнь, все остальное не имело никакого значения. Но каковы бы ни были мои чувства, я ощущал в глубине сердца какую-то тревогу, в которой и сам не отдавал себе отчета: мне казалось, что я похож на человека, который хочет схватить радугу и что настоящая Эди Колдер, хотя она и была рядом, на самом деле находится на недостижимом для меня расстоянии. Это потому, что ее было трудно понять, по крайней мере, мне, тупоумному деревенскому парню. Когда я говорил ей о моих планах на будущее, о том, что если бы мы взяли в аренду весь Корримюр, то могли бы

получать не меньше ста фунтов лишнего дохода, и тогда можно было бы устроить гостиную в Вест-Инче и красиво убрать для нее, когда мы обвенчаемся, то она надувала губки и опускала глаза, как будто бы у нее не хватало терпения выслушать меня. А когда я предавался мечтам о том, чем могу сделаться впоследствии, что, может быть, я отыщу бумагу, которая послужит доказательством, что я — наследник какого-нибудь лорда или что я, не поступая на службу, о чем она не хотела и слышать, стану знаменитым воином и мое имя будет у всех на устах, то она делалась веселой, как майский день. Я старался поддерживать эту иллюзию

насколько мог, но вдруг у меня вырывалось какое-нибудь несчастное слово, которое показывало, что я не более как Джек Колдер из Вест-Инча, и она снова надувала губки, выказывая этим свое презрение. И таким образом мы шли с ней вперед: она — по воздуху, а я — по земле, и что-нибудь непременно должно было разлучить нас. Это случилось после Рождества, но зима была не холодная, и подморозило лишь настолько, что можно было без опаски ходить по торфяным болотам. Как-то утром, когда было довольно свежо, Эди рано ушла из дома и вернулась назад очень взволнованная.

— Что, Джек, вернулся домой ваш приятель, сын доктора? — спросила она.

— Я слышал, его ждут.

— Ах, так, значит, это его я встретила на пустоши?

— Как! Вы встретили Джима Хорскрофта?

— Я уверена, что это был он. Замечательно красивый мужчина — герой, с кудрявыми черными волосами, коротким прямым носом и серыми глазами. У него плечи, как у статуи, а что касается роста, то, думаю, ваша голова, Джек, будет только до булавки в его галстук.

— До его уха, Эди, — поправил я с негодованием. — Да, это был

Джим. Скажите еще, не торчала ли у него изо рта коричневая деревянная трубка?

— Да, он курил. Он был одет в серое, и у него громкий, басистый голос.

— О! Так вы говорили с ним! — сказал я.

Она немножко покраснела, так как проговорилась.

— Там, где я шла, земля была не совсем тверда, и он сказал, чтобы я была осторожней, — ответила она.

— А, должно быть, это действительно был мой милый старый приятель Джим, — заметил я. — Он уже давно был бы доктором, если бы у него ум был так же силен,



как рука. Да вот он сам, честное слово.

Я увидел его из окна в кухне и выбежал во двор с недоеденной овсяной лепешкой, чтобы поздороваться с ним. Он также бросился навстречу с протянутыми руками и сияющими глазами.

— Джек! — закричал он. — Я так рад, что вижу тебя опять. Старый друг лучше новых двух.

Тут он вдруг замолчал и, разинув рот, уставился через мое плечо. Я обернулся: в дверях стояла Эди с веселой плутовской улыбкой на лице. Как я гордился ею, да и саглим собою тоже!

— Это моя кузина, мисс Эди

Колдер, Джим, — сказал я.

— А вы часто гуляете до завтрака, мистер Хорскрофт? — спросила она все с той же плутовской улыбкой.

— Да, — отвечал он, пристально глядя на нее.

— И я тоже часто бываю на пустоши, — сказала она. — Но вы не очень-то радушно принимаете вашего приятеля, Джек. Если вы не будете его угощать, то я должна буду занять ваше место, чтобы поддержать честь Вест-Инча.

Через минуту мы присоединились к старикам, и Джиму тоже налили тарелку супа; он почти не говорил, но сидел с ложкой

в руке, не спуская глаз с кузины Эди. Она все время бросала на него быстрые взгляды; мне казалось, что ее забавляла его робость и что она старалась его ободрить.

— Джек рассказывал мне, что вы учитесь для того, чтобы сделаться доктором, — сказала она. — Должно быть, это очень трудно и требует много времени.

— Да, много времени, — ответил печальным тоном Джим. — Но я все-таки стараюсь добиться своего.

— Ах, какой вы молодец! Вы человек настойчивый. Вы видите цель и идете к ней, и ничто не может вас остановить.

— Право, мне нечем похвалиться, — сказал он. — Многие из студентов, которые начинали вместе со мной, уже давно обзавелись практикой, а я все еще студент.

— Вы говорите так из скромности, мистер Хорскрофт. Говорят, что мужественные люди всегда бывают скромными. Но вы обязательно достигнете цели; какая это прекрасная карьера — подавать исцеление, поднимать с одра страдальцев, иметь своей единственной целью благо человечества.

Услышав такие слова, честный Джим заерзал на стуле.

— Боюсь, у меня нет таких высоких мотивов, мисс Колдер, — сказал он. — Я учусь для того, чтобы зарабатывать кусок хлеба и взять на себя практику отца. Если я одной рукой подаю исцеление, то другую протягиваю для того, чтобы получить крону.

— Какой вы откровенный и правдивый человек! — воскликнула она.

Таким образом они вели между собой разговор и дальше, причем она украшала его всевозможными добродетелями и поворачивала его слова так, чтобы его расхвалить — хорошо знаю эту ее манеру. Он еще не успел кончить разговора, а я уже

видел, что у него голова идет кругом от ее красоты и ласковых слов. Я был проникнут гордостью, думая, что он составил такое высокое мнение о моей родственнице.

— Не правда ли, она хороша собой, Джим? — Я не мог удержаться, чтобы не сказать этого, когда мы с ним стояли во дворе у входной двери, и он, прежде чем отправиться домой, раскуривал свою трубку.

— Только ли?! — воскликнул он. — Да я никогда не видал ничего подобного!

— Мы с ней скоро обвенчаемся.

Трубка выпала у него изо рта, и он уставился на меня во все глаза.

Затем он подобрал трубку и пошел домой, не сказав ни слова. Я думал, что он, может быть, вернется, но он не вернулся: я видел, как он бредет вверх по склону холма, опустив голову на грудь.

Но я не мог о нем позабыть, потому что кузина Эди засыпала меня вопросами о том, каков он был мальчиком, о его силе, с какими женщинами он был знаком; ее расспросам не было конца. В тот же вечер я услышал о нем еще раз, причем отзывы были далеко не такие лестные. Мой отец, вернувшись домой, много говорил о бедном Джиме. После полудня он был мертвецки пьян; затем ходил на берег

в Вестхаус и дрался с кулачным бойцом-цыганом, причем думали, что его противник не переживет ночи. Мой отец встретил Джима на большой дороге; тот был мрачен как туча и готов оскорбить всякого, кто проходил мимо.

— Ну и дела! — сказал старик. — Хороша будет у него практика, если он начнет ломать кости.

Кузина Эди смеялась надо всем, а я смеялся потому, что смеялась она; на самом деле мне было совсем не смешно. На третий день после этого я поднимался на холм в Корримюре по овечьей тропе и вдруг вижу, что вниз спускается не кто иной, как сам



Джим. Но это был уже не тот большой ростом, добродушный человек, который два дня тому назад ел суп вместе с нами. На нем не было ни воротничка, ни галстука, жилет у него был расстегнут, волосы всклокочены, а лицо все в пятнах — как у человека, который был сильно пьян накануне. В руках он держал ясеневую палку, которой сбивал головки дрока, росшего по обе стороны тропинки.

— А, это ты, Джим! — сказал я.

Он посмотрел на меня взглядом, какой я часто видел у него в школе, когда он сильно злился и знал, что виноват, но только ни за что не хотел показать этого. Он не сказал ни

слова, быстро прошел мимо меня по узкой тропинке и зашагал дальше, махая своей ясеновой палкой и обивая ею кусты.

Нет, я не сердился на него! Я был огорчен, очень огорчен, и больше ничего. Само собой разумеется, я не был настолько слеп, чтобы не видеть, в чем тут дело. Он влюбился в Эди и не мог выносить того, что она будет принадлежать мне. Бедняга, ну что он мог с собой поделать? Может быть, и я на его месте был бы в таком же состоянии. Когда-то я бы и не поверил, что девушка может так вскружить голову сильному мужчине, но теперь я был опытнее в этом отношении.

Целых две недели я совсем не видал Джима Хорскрофта, но вот наконец наступил тот четверг, в который совершился переворот в моей жизни. Я проснулся рано и в радостном настроении. Накануне Эди была со мною ласковее, чем обыкновенно, и я заснул с мыслью, что, может быть, мне удалось наконец схватить радугу и что Эди без всяких иллюзий и мечтаний полюбила простодушного, грубого Джека Колдера из Вест-Инча. Эта мысль не выходила у меня из головы, и в сердце у меня точно щебетали птички. А затем я вспомнил, что если поспешу, то еще застаю ее дома, потому что она, по своему

обыкновенно, уходила с восходом солнца.

Но я опоздал. Когда я подошел к двери ее комнаты, она была полуотворена и внутри никого не было. «Ну, — подумал я, — по крайней мере, я могу встретить ее и вместо с ней вернуться домой». С вершины Корримюрского холма видны все окрестности. И вот, захватив палку, я пошел в этом направлении. День был ясный, но холодный, и я помню, что слышал громкий шум прибоя, хотя в наших местах уже несколько дней совсем не было ветра. Я шел зигзагами по крутой тропинке, дыша свежим утренним воздухом и напевая

вполголоса песенку, пока не добрался, немного запыхавшись, до поросшей вереском вершины. Посмотрев вниз на длинный склон противоположной стороны, я увидел, как и ожидал, кузину Эди; но я увидел и Джима Хорскрофта, который шел рядом с нею.

Они были недалеко от меня, но так заняты друг другом, что совсем меня не заметили. Она шла медленно, шаловливо закинув свою грациозную головку с той манерой, которая была мне хорошо известна, отвернувшись от него и время от времени перекидываясь с ним словом. Он шагал рядом с ней, глядя на нее сверху вниз и наклонив голову,

увлеченный разговором, который, казалось, был серьезным. Затем он что-то сказал, она ласково положила свою руку на его, а он, расставив ноги, поднял ее на воздух и несколько раз поцеловал. Увидя это, я не смог ни закричать, ни двинуться с места; сердце мое точно налилось свинцом, лицо застыло, и я не спускал с них глаз. Я видел, что она положила ему руку на плечо и принимала его поцелуи так охотно, как никогда не принимала их от меня.

Потом он опустил ее на землю, и я понял, что они прощаются; пройди они еще шагов сто, их можно было бы увидеть из окон верхнего

этажа нашего дома. Она пошла прочь медленными шагами и раз или два помахала ему, а он стоял и смотрел ей вслед. Я подождал, пока она не скрылась из виду, и затем пошел вниз, но он был так занят, что не заметил меня, даже когда я приблизился на расстояние протянутой руки. Встретившись со мной глазами, он сделал попытку улыбнуться.

— А, Джек, — сказал он, — что-то ты рано сегодня!

— Я видел вас! — проговорил я: у меня так пересохло в горле, что я едва дышал.

— Видел? — сказал он и потихоньку засвистал. — Ну, ей-Богу

же, Джек, меня это не огорчает. Я имел намерение прийти сегодня же в Вест-Инч и объясниться с тобой. Может, так вышло даже лучше.

— Хорош друг, нечего сказать! — возмутился я.

— Послушай, Джек, будь рассудителен, — сказал он, засовывая руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону. — Дай мне объяснить тебе положение дел. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не лгу. Вот как все случилось. Я встретил Эди, то есть мисс Колдер, прежде чем пришел к вам тогда утром, и тогда по некоторым признакам счел ее совершенно свободной; думая, что



это действительно так, я решил, что она будет моей. Затем ты сказал, что она не свободна, и это стало для меня жестоким ударом. Я вышел из себя, несколько дней безумствовал и хорошо еще, что не попал в Бервикскую тюрьму. Затем я случайно встретил ее опять — ей-Богу, Джек, это было случайно, — и когда я заговорил о тебе, она засмеялась. «Он мне только двоюродный брат, не более», — сказала она, а что же до того, что она будто не свободна или ты для нее больше чем друг, то это — одна только глупая болтовня. Как видишь, Джек, я вовсе не так виноват, как ты думал, тем более что она обещала

дать тебе понять своим обращением, что ты ошибаешься, полагая, что имеешь на нее права. Ты, вероятно, заметил, что в продолжение этих двух недель она почти ни слова не сказала с тобой.

Я горько засмеялся.

— Да не далее как вчера вечером, — отвечал я, — она сказала мне, что я — единственный человек на свете, которого она могла бы полюбить.

Джим Хорскрофт протянул дрожащую руку, положил ее на мое плечо, близко придвинул ко мне свое лицо и посмотрел мне в самые глаза.

— Джек Колдер, — сказал он, — я знаю, что ты никогда не лгал.

Уж не хочешь ли ты отплатить мне обманом за обман? Говори правду, нас никто не слышит.

— Это — святая истина, — сказал я.

Он стоял и смотрел на меня: его лицо выражало сильную внутреннюю борьбу. Прошло по крайней мере две минуты прежде, чем он заговорил.

— Послушай, Джек, — сказал он, — эта женщина дурачит нас обоих. Слышишь, она дурачит нас обоих! В Вест-Инче она любит тебя, на склоне холма — меня, а между тем в ее дьявольском сердце нет ни крошечки любви ни к одному из нас. Подадим друг другу руку, дружище, и

проучим эту негодяйку!

Но для меня это было чересчур. Я не мог проклинять ее в своем сердце, а еще менее того — стоять и слушать, как ее проклиняет другой, пусть даже это был мой старый приятель.

— Не бранись! — закричал я.

— Мне тошно от твоих кротких речей! Я буду называть ее так, как она того заслуживает.

— Вот как? — рявкнул я, стаскивая с себя сюртук. — Послушай, Джим Хорскрофт, если ты скажешь еще хоть слово против нее, я вобью твои слова тебе в горло, будь ты даже ростом с Бервикский замок. Только попробуй, и увидишь!

Он сдернул было сюртук до локтей, но затем не спеша натянул его обратно.

— Не будь таким глупцом, Джек! — сказал он. — В человеке редко бывает четыре стоуна<sup>[4]</sup> и пять фунтов. Два старых друга не должны ссориться из-за такой... ну хорошо, больше я ничего не скажу. Ну ее, ей-Богу, пусть заведет хоть десять любовников.

Я оглянулся, а она стояла рядом на расстоянии каких-нибудь двадцати ярдов, спокойная и невозмутимая, между тем как мы разгорячились и были точно в лихорадке.

— Я уже дошла почти до

дома, — сказала она, — но увидела, что вы, мальчики, о чем-то спорите между собой, вот я и вернулась, чтобы узнать, в чем дело.

Хорскрофт бросился вперед и схватил ее за кисть руки. Посмотрев ему в лицо, она взвизгнула, а он подтащил ее к тому месту, где стоял я.

— Ну Джек, довольно ломать комедию, — сказал он. — Вот она. Не спросить ли нам у нее, которого из нас она любит? Она не сможет лгать теперь, когда мы тут оба вместе.

— Я согласен на это, — отвечал я.

— И я тоже. Если она пойдет к

тебе, то клянусь, что больше никогда и не взгляну на нее. Сделаешь ли ты то же самое и для меня?

— Да, сделаю.

— Хорошо же, слушайте, вы! Оба мы — честные люди, друзья между собой и никогда друг другу не лжем. Нам известно ваше двуличие. Я знаю, что вы сказали вчера вечером. Вы слышите? Так вот, говорите прямо и откровенно! Мы стоим тут перед вами; скажите — и делу конец. Кто из нас двоих — Джек или я?

Вы, может быть, подумаете, что эта женщина не знала, куда деться от стыда? Ничуть не бывало — ее глаза блестели от удовольствия, и я могу

побиться об заклад, что это была лучшая минута в ее жизни. Она смотрела на нас попеременно, то на того, то на другого, лицо ее было освещено утренним солнцем, поднявшимся еще не высоко, и она еще никогда не казалась мне такой привлекательной. Я уверен, что и Джим думал то же самое, потому что он выпустил ее руку из своей, и суровые черты его лица смягчились.

— Ну Эди, который же из нас? — спросил он.

— Шалуны-мальчишки, которые ссорятся из-за этого? — воскликнула она. — Кузен Джек, вы знаете, какое нежное чувство я питаю к вам.

— Раз так, то идите к нему! —



сказал Хорскрофт.

— Но я не люблю никого, кроме Джима. Я никого не люблю так, как Джима.

Она прижалась к нему и спрятала лицо у него на груди.

— Ты видишь, Джек, — сказал он, глядя на меня через ее плечо.

Я оставил их и вернулся в Вест-Инч, но уже не тем человеком, каким вышел из него утром.

# **Глава пятая**

## **Человек, прибывший из-за моря**

Я не из тех, кто постоянно жалуется, что им изменило счастье. Если дела нельзя поправить, вряд ли стоит снова упоминать о нем. У меня долго болело сердце; по правде сказать, когда я вспоминаю об этом, мне и теперь делается немножко больно, хотя прошло уже столько лет и я счастливо живу с женой. Я старался держать себя мужественно,

и, сразу надо сказать, я поступил так, как обещал в этот день на склоне холма. Я был для нее братом, не больше, хотя бывали минуты, когда мне стоило большого труда сдержаться, потому что даже и теперь она иногда приходила ко мне со своими вкрадчивыми манерами и рассказывала, как груб с ней Джим и как она счастлива, когда я с ней ласков, и все это только потому, что изменчивость и лукавство были у нее в крови.

Но по большей части Джим и она были счастливы вместе. По всей окрестности распространился слух, что они поженятся, как только он получит ученую степень, и он

приезжал в Вест-Инч четыре раза в неделю, по вечерам, чтобы побыть с ней. Мои родные были довольны этим, и я старался показать, что мне это тоже приятно.

Пожалуй, в первое время между нами была некоторая холодность: мы относились друг к другу уже не с тем доверием, какое бывает между старыми школьными товарищами. Но затем, когда прошло острое горе, я нашел, что он поступил честно, и по справедливости я не могу на него сердиться. Таким образом мы остались в дружеских отношениях; что же касается до нее, то он позабыл весь свой гнев и готов был целовать следы, оставленные ее

башмаками в грязи. Мы с ним вдвоем  
подолгу гуляли, и об одной из этих  
прогулок я хочу вам рассказать.



---

Мы прошли всю Бремстонскую пустошь, за те сосны, что защищают дом майора Элиота от морского ветра. Весна в этом году наступила ранняя, и в конце апреля деревья уже совсем оделись листвой. Было тепло, как в летний день, а потому нас очень удивило то, что на лужайке перед дверью в дом майора был разведен большой огонь. Горела целая половина сосны, и языки пламени поднимались вверх до окон спальни. Мы с Джимом в удивлении уставились на пламя, но мы удивились еще больше, когда из дома вышел сам майор, с большой четвертной бутылкой в руке; за ним

шла его старая сестра, которая вела у него хозяйство, и две служанки, и все они четверо принялись приплясывать вокруг огня. Майор был смирным, кротким человеком — это было известно всей округе, а тут он, точно старый леший, прыгал, прихрамывая, вокруг огня и махал бутылкой с вином над головой. Мы бросились бежать к нему, и, завидев нас, он принялся махать еще сильнее.

— Мир! — вопил он во все горло. — Ура, друзья мои! Мир!

Услыхав эти слова, мы тоже принялись приплясывать и кричать, потому что все очень устали от войны, и трудно было поверить, что исчезла тень, которая так давно



нависала над нами. Мы даже не сразу в это поверили, но майор осмеял наши сомнения.

— Да-да, это правда! — закричал он, остановившись и опустив руку. — Союзники вошли в Париж, Бони сбежал, и его народ присягнул в верности Людовику XVIII!

— А что будет с императором? — спросил я. — Поощалят ли его?

— Поговаривают, что его нужно отослать на остров Эльбу, там от него вреда не будет. Что до его военачальников, то между ними есть такие, от которых нельзя отделаться так легко. В течение последних

двадцати лет были совершены подвиги, которых нельзя забыть. Надо бы свести кое-какие старые счета, но теперь — мир, мир!

И он опять принялся прыгать со своей бутылкой вокруг костра.

Мы побыли некоторое время с майором, а затем пошли на взморье, разговаривая между собой об этом важном известии и о том, что может от него произойти. Джим знал немного, а я еще меньше его, но что мы знали, мы сложили в одно целое и говорили о том, что теперь упадут цены, что вернутся на родину наши храбрые солдаты, что корабли смогут спокойно плыть, куда им нужно, что мы уничтожим на берегу все

сигнальные огни, потому что теперь уже нет врага, которого мы боялись. Так мы болтали, идя по гладкому твердому песку и глядя вдаль на Северное море. Джим, который шагал рядом со мной, такой здоровый и бодрый, и не подозревал, что достиг высшей точки своей жизни и что с этого часа все у него пойдет под откос.

Над морем висел легкий туман; ранним утром туман был гуще, а теперь разрядился от солнца. Посмотрев на море, мы вдруг увидели, что из тумана показался парус небольшой лодки, которая, раскачиваясь, приближалась к земле. В ней сидел только один человек, и

она вертелась в разные стороны, как будто бы сидевший в ней и сам не знал, причалить к берегу или нет. Наконец, может быть ободренный нашим присутствием, он подплыл прямо к нам, и песок заскрипел под килем у самых наших ног.

Человек спустил парус, выскочил из лодки и втащил корму на берег.

— Великобритания, полагаю? — спросил он, быстро повернувшись и глядя нам прямо в лицо.

Он был немного выше среднего роста, но страшно худой. У него были проницательные, близко посаженные глаза, между которыми выдавался длинный, острый нос, а

под ним торчали, как щетина, усы каштанового цвета, жесткие и прямые, как у кошки. Он был хорошо одет — в коричневой паре с медными пуговицами и в высоких сапогах, которые заскорузли и потеряли глянец от морской воды. Лицо и руки были у него смуглые, так что его можно было счесть за испанца, но, когда он, кланяясь нам, снял шляпу, мы увидели, что верхняя часть лба была у него совершенно белой, остальное же лицо просто обветрилось. Он смотрел то на одного, то на другого из нас, и в его серых глазах мелькало что-то такое, чего я не видывал прежде. Вы могли прочесть в них вопрос, но казалось,

что за этим вопросом кроется угроза, как будто бы отвечать следовало по приказу, а не из любезности.

— Великобритания? — спросил он снова, нетерпеливо топнув ногой в песок.

— Да, — сказал я, а Джим расхохотался.

— Англия? Шотландия?

— Здесь Шотландия, а вон за теми деревьями — Англия.

— Ага! Теперь я знаю, куда попал. Я плыл в тумане без компаса почти целых три дня и думал, что никогда больше не ступлю на твердую землю.

Он говорил по-английски довольно бегло, но иногда

употреблял иностранные обороты.

— Откуда вы? — спросил Джим.

— Я с корабля, который потерпел крушение, — отвечал он коротко. — Какой это город, вон там?

— Это Бервик.

— А! Ладно, я должен отдохнуть, прежде чем отправлюсь дальше.

Он повернулся и пошел к лодке, но поскользнулся и непременно упал бы, если бы не ухватился за ее нос. Затем он сел на борт и стал озираться. Лицо его покраснелось, глаза сверкали, как у дикого зверя.

— *Voltigeurs de la Garde!* — закричал он голосом, похожим на

звук трубы. — Voltigeurs de la Garde!

Он помахал шляпой над головой, затем бросился лицом в песок и остался лежать неподвижно.

Мы с Джимом Хорскрофтом в недоумении уставились друг на друга. Все нам казалось странным: и появление этого человека, и его вопросы, и, наконец, его неожиданная выходка. Взяв за плечи, мы перевернули его на спину. Он остался лежать, нос его и усы торчали по-прежнему, но губы совсем побелели, от его дыхания не пошевелинулось бы и перо.

— Он умирает, Джим! — вскричал я.

— Да, от голода и жажды. В



лодке нет ни капли воды и ни крошки хлеба. Может, что-нибудь найдется в этом мешке?

Он вскочил в лодку и вытащил оттуда черный кожаный мешок; кроме этого мешка да еще широкого плаща синего цвета, в лодке не было ничего. Мешок был завязан, но Джим раскрыл его в одну минуту. Он был до половины наполнен золотыми монетами.

Ни один из нас никогда не видел столько денег — даже десятой части. Тут были сотни монет — и все блестящие новенькие английские соверены. Мы так заинтересовались деньгами, что совсем позабыли о том, кому они принадлежали, но

вдруг мы услышали стон, который заставил нас вспомнить о нем. Его губы еще больше посинели, нижняя челюсть отвалилась. Теперь стал виден его раскрытый рот с рядом белых зубов, похожих на зубы волка.

— Господи! Да он умирает! — воскликнул Джим. — Джек, беги к ручью и зачерпни шляпой воды. Да поскорее, а то он умрет. А я тем временем раздену его.

Я пустился бежать со всех ног и через минуту вернулся назад с полной шляпой воды. Джим расстегнул сюртук и рубашку незнакомца, мы облили водой его лицо и грудь и с трудом влили несколько капель в рот. Это

произвело хорошее действие. Он раз или два глубоко вздохнул, приподнялся и сел, протирая глаза, как человек, проснувшийся от глубокого сна. Но мы с Джимом смотрели ему не в лицо, а на обнаженную грудь. На ней были видны два широких красных шрама, один под ключицей, другой посередине груди ближе к правому боку. Кожа его, вплоть до самой загорелой шеи, была замечательно бела, и на ней еще ярче выделялись красные пятна. Подойдя сзади, я заметил, что в одном месте шрам есть и на спине. Несмотря на неопытность, я догадался, что это значило. Он был ранен в грудь двумя

пулями — одна прошла навылет, а другая так и осталась в теле.

Вдруг он, пошатываясь, встал и запахнул на себе рубашку, бросив на нас быстрый подозрительный взгляд.

— Что я делал? — спросил он. — Я сам себя не помнил. Если я сказал чего, не обращайтесь внимания. Что, я кричал что-нибудь?

— Да, перед тем как упасть.

— Что же я кричал?

Я передал ему его слова, хотя для меня они были лишены смысла. Он пристально посмотрел на нас обоих и пожал плечами.

— Это слова одной песни, — сказал он. — Ну теперь вопрос в том, что мне делать. Я не думал, что так

ослабел. Где вы достали воды?

Я указал ему на ручей, и он, шатаясь, пошел к нему. Он лег ничком и пил очень долго, — я думал, что он никогда не кончит. Вытянув, точно лошадь, свою длинную худую шею, он громко глотал. Наконец, глубоко вздохнув, он поднялся на ноги и отер усы руками.

— Теперь мне лучше, — сказал он. — Нет ли у вас чего-нибудь поесть?

Перед уходом я сунул в карман два куса лепешки из овсяной муки; он положил их в рот, разжевал и проглотил. Затем он распрямил плечи, выпятил грудь и ладонями погладил себя по ребрам.

— Право, я чрезвычайно обязан вам, — сказал он. — Вы были очень добры к незнакомому человеку. А, вы сумели развязать мой мешок.

— Когда вам сделалось дурно, мы подумали, нет ли там вина или виски.

— А! У меня в нем только — как вы называете это? — деньги на черный день. Небольшая сумма, но я могу спокойно жить на нее до тех пор, пока не найду себе какого-нибудь дела. А здесь, как мне кажется, можно жить спокойно. Я попал в тихое место; здесь, наверно, и жандарма встретишь только в городе.

— Но вы не сказали нам, кто вы

такой, откуда и какова ваша профессия, — заявил напрямик Джим.

Незнакомец смерил его с головы до ног испытующим взглядом.

— Вы годились бы в гренадеры во фланговую роту, честное слово, — сказал он. — Что же касается ваших вопросов, то я обиделся бы, если бы услышал их не от вас, а от кого-нибудь другого. Вы имеете право знать, что я за человек, потому что вы так радушно меня приняли. Меня зовут Бонавентур Делапп. По профессии я солдат и путешествую; я приехал из Дюнкерка, название этого города написано на лодке.

— А я думал, что вы потерпели

кораблекрушение! — сказал я.

Он посмотрел мне прямо в глаза, как честный человек.

— Это правда, — сказал он, — корабль плыл из Дюнкерка, и это одна из его шлюпок. Экипаж пересел в баркас, а корабль пошел ко дну так быстро, что я не успел ничего захватить с собой. Это было в понедельник.

— А сегодня четверг. Значит, целых три дня у вас куска во рту не было?

— Да, это очень долго, — сказал он. — Раньше я дважды оказывался в таком положении, но не дольше чем на два дня. Ну я оставляю здесь шлюпку и поищу себе приют в одном



из этих серых домиков на склоне холма. А зачем горит вон тот большой огонь?

— Там живет один из наших соседей, который был на военной службе и сражался с французами. Он празднует заключение мира.

— О, так у вас есть сосед, который был военным! Я рад этому, потому что и я тоже участвовал в сражениях.

Он погрузился, и брови над его пронизательными глазами нахмурились.

— Ведь вы — француз, не правда ли? — спросил я, когда мы все трое поднимались вверх по холму; он нес в руке свой черный

мешок, длинный синий плащ свешивался с его плеча.

— Как вам сказать? Я из Эльзаса, а в Эльзасе живут скорее немцы, чем французы. Что касается меня, я видел так много стран, что везде чувствую себя как дома. Я очень много путешествовал. Как вы думаете, где я могу найти пристанище?

После этого события прошло целых тридцать пять лет, но даже и теперь я могу передать, какое впечатление произвел тогда на меня этот странный человек. Я не доверял ему, но вместе с тем он меня обворожил, ибо в его осанке, взгляде и разговоре было что-то такое, чего я

никогда не встречал прежде. Джим Хорскрофт был красив собой, а майор Элиот — храбрый вояка, но им обоим недоставало того, что было в этом путешественнике: быстрого, живого взгляда, блеска в глазах, какого-то изящества, которое нельзя выразить словами. А кроме того, мы спасли его, когда он лежал бездыханный на песке, а человек всегда питает нежное чувство к тому, кому помог в беде.

— Если вы захотите пойти со мной, — сказал я, — то я могу поручиться, что найду вам место, где можно пожить день или два, а за это время вы сумеете устроиться по своему желанию.

Сняв шляпу, он необыкновенно грациозно поклонился мне. Но Джим Хорскрофт, дернув меня за рукав, отвел в сторону.

— Ты с ума сошел, Джек, — сказал он мне на ухо. — Этот человек искатель приключений. К чему ты связываешься с ним?

Однако трудно найти человека упрямее меня; если меня толкают назад, я обязательно делаю шаг вперед.

— Он — иностранец, — сказал и, — и помочь ему — наша обязанность.

— Ты пожалеешь об этом, — сказал Джим.

— Может, и пожалею.

— Если ты не думаешь о себе, подумай о своей кухне.

— Эди может и сама о себе позаботиться.

— Ну так, черт бы тебя побрал, делай как знаешь! — крикнул он, вспыхнув. И, не простившись с нами, он зашагал к дому своего отца.

Бонавентур Делапп с улыбкой взглянул на меня.

— Я так и думал, что не нравлюсь ему, — сказал он. — Сколько я понимаю, вы поссорились из-за того, что вы ведете меня к себе в дом. Что же он думает обо мне? Может быть, что золото у меня в мешке — краденое?

— Молчите, я ничего не знаю и

ни о чем не думаю. У нас принято накормить странника, проходящего мимо нашего дома, и дать ему ночлег.

Высоко подняв голову, в полной уверенности, что я делаю что-то очень хорошее и даже не подозревая, что к югу от Эдинбурга нет человека глупее меня, я гордо выступал по дороге, а рядом со мной шел мой новый знакомый.

# Глава шестая

## Странствующий орел

По-видимому, мой отец был того же мнения, что и Джим Хорскрофт, потому что он не очень радушно встретил незнакомого гостя и подозрительно осмотрел его с головы до ног. Но он все-таки поставил перед ним блюдо селедок в уксусе, и я заметил, что он стал еще суровее, когда тот съел девять селедок за раз: нам полагалось по две селедки на каждого. Когда Бонавентур Делапп кончил свой ужин, у него начали

слипаться глаза, потому что, по-видимому, он не только не ел, но и не спал все эти три дня. Комната, в которую я его провел, имела довольно жалкий вид, но, несмотря на это, он бросился на постель и, завернувшись в свой синий плащ, моментально заснул. Он очень громко храпел, а так как моя комната была рядом с его, я не мог ни на минуту забыть о том, что у нас в доме находится незнакомый человек.

Когда на другой день поутру я сошел вниз, то увидел, что он встал раньше меня и сидит напротив моего отца у стола в кухне; их головы почти соприкасались, и между ними лежал столбик золотых монет. Когда я



вошел в комнату, отец поднял голову и посмотрел на меня: в его глазах светилась алчность, чего я никогда не замечал прежде. Он поспешно схватил деньги и спрятал их в карман.

— Очень хорошо, мистер, — сказал он, — комната за вами, будете платить каждый месяц третьего числа.

— Ах, вот и мой приятель, с которым я познакомился прежде, чем с вами! — воскликнул Делапп и протянул мне руку с улыбкой, хотя и ласковой, но в ней чувствовалось что-то покровительственное: так человек улыбается собаке. — Теперь я совсем оправился, благодаря тому,

что прекрасно поужинал и хорошо спал ночью. Ах, голод отнимает у человека мужество, — главным образом голод, а затем холод.

— Да, это правда, — сказал мой отец. — Раз в метель я пробыл на пустоши тридцать шесть часов и знаю, каково это.

— Я видел однажды, как три тысячи человек умерли от голода, — заметил Делапп, протягивая руки к огню. — Они худели день ото дня и становились все более и более похожими на обезьян; они подходили к краям понтонов, на которых мы их держали, и поднимали вой от ярости и от боли. Первые дни их вой слышен был по всему городу, но через неделю

наши часовые, стоявшие на берегу, уже их не слышали, так они ослабели.

— И они все умерли! — воскликнул я.

— Они выдержали очень долго. Это были австрийские гренадеры из корпуса Старовица, видные собою, крепкие люди, такого же роста, как ваш приятель, которого я видел вчера; но когда город был взят, их осталось в живых только четыреста человек, и один человек мог поднять троих зараз, как будто это были маленькие обезьянки. На них жалко было смотреть. Ах, друг мой, познакомьте меня с мадам и мадемуазель.

В это время в кухню вошли моя мать и Эди. Он не видел их накануне вечером, а когда я посмотрел на него теперь, то едва удержался от смеха, потому что, вместо того, чтобы просто кивнуть головой, как было принято у нас, в Шотландии, он согнул спину, словно форель, которая хочет нырнуть, шаркнул ногой и пресмешно прилсал руку к сердцу. Моя мать с недоумением смотрела на него; она думала, что он над ней смеется; но кузина Эди сейчас же ответила ему тем же, точно это была какая-то игра: она присела так низко, что я подумал: «Она ни за что не сможет встать, так и сядет на пол посреди кухни». Но ничуть не

бывало: она поднялась легко, как пух, а затем мы подвинули к столу стулья и принялись за булки с молоком и похлебку.

Надо было только дивиться тому, как этот человек умел обращаться с женщинами. Если бы мы, то есть я и Джим Хорскрофт, вели себя так, как он, все решили бы, что мы дурачимся, и девушки смеялись бы над нами; но у него это как будто бы гармонировало с выражением лица и манерой говорить, так что наконец мы к этому привыкли; если он обращался к моей матери или к кузине Эди — а он охотно говорил с ними, — то всегда с поклоном и со взглядом,

выражавшим, что они едва ли удостоят выслушать то, что он хочет сказать, а когда они отвечали ему, то его лицо принимало такое выражение, как будто бы всякое их слово было сокровищем, которое нужно беречь и всегда хранить в памяти. И, несмотря на все это, даже и тогда, когда он унижался перед женщинами, в его взгляде всегда светила особая гордость, как будто бы он хотел показать, что это только с ними он обращается так мягко и что при случае он может быть суровым. Что касается моей матери, то она удивительно смягчилась в своем обращении с ним и рассказала ему решительно все о своем дяде,

который был доктором в Карлайле и самым видным лицом из родственников с ее стороны. Она рассказала ему также и о смерти моего брата Роба. Я никогда не слышал, чтобы она говорила об этом с кем-нибудь прежде, и мне показалось, что у него слезы выступили на глазах, — у него, который видел, как умерли от голода три тысячи человек! Что касается Эди, то она говорила мало, только время от времени поглядывала на нашего гостя, и раз или два он очень пристально посмотрел на нее. Когда он после завтрака ушел в свою комнату, отец вынул из кармана восемь золотых монет и положил их

на стол.

— Что скажешь, Марта? — спросил он.

— Ты, должно быть, продал двух черных баранов.

— Нет, это — месячная плата за комнату и стол, которую я получил от знакомого Джека, и через четыре недели мы опять получим столько же.

Услышав это, моя мать покачала головой.

— Два фунта стерлингов в неделю — это очень много, — сказала она, мы не должны брать такую высокую плату с джентльмена, который попал в беду.

— Молчи! — закричал отец. —



Он в состоянии заплатить такие деньги, — у него есть мешок, набитый золотом. А потом, он сам предложил такую цену.

— Эти деньги не принесут добра, — сказала она.

— Да он, жена, вскружил тебе голову своей иностранной манерой говорить! — воскликнул отец.

— Да, хорошо было бы, если бы мужчины-шотландцы немножко поучились у него ласковому обращению, — отозвалась мать; я первый раз в жизни слышал, чтобы она так говорила с отцом.

Вскоре после этого наш гость сошел вниз и спросил, не пойду ли я с ним погулять. Когда мы шли по

солнцу; он вынул маленький крестик из красных камней. Я в жизни не видел такой красивой вещицы.

— Это рубины, — сказал он, — я купил этот крестик в Туделе, в Испании. Таких крестиков было у меня два, но другой я отдал одной девушке-литвинке. Прошу вас, возьмите его на память в знак моей благодарности. Из него можно сделать булавку для галстука.

Я мог только поблагодарить его за подарок, потому что у меня еще никогда не было такой дорогой вещи.

— Я иду на верхнее пастбище считать ягнят. Хотите, пойдемте со мной, оттуда можно посмотреть окрестности.

С минуту он раздумывал, затем покачал головой.

— Мне нужно как можно скорее написать несколько писем. Боюсь, сегодня утром мне лучше остаться дома.

Я до полудня считал овец по берегам реки, и легко догадаться, что у меня не выходил из головы этот странный человек, которого случай привел в наш дом. Где он приобрел такую осанку, такую манеру повелевать и этот надменный грозный взгляд? А как много он испытал в своей жизни, хотя не придавал этому большого значения! Видимо, у него была совершенно удивительная, наполненная

приключениями жизнь! Он был ласков и учтив с нами, но, несмотря на это, я не мог заглушить в себе недоверие к нему. Может быть, Джим Хорскрофт был прав, а я сделал ошибку, когда привел его в Вест-Инч.

Когда я вернулся домой, он имел такой вид, будто с малых лет привык к сидячей жизни. Он сидел у огня в деревянном кресле с черной кошкой на коленях. Растопырив пальцы, он держал на них моток шерсти, которую моя мать проворно наматывала на клубок. Около него сидела кузина Эди, и я увидел по ее глазам, что она плакала.

— Что случилось, Эди? — спросил я. — Что вас так огорчило?

— Ах, у мадемуазель, как у всех добрых и правдивых женщин, нежное сердце, — сказал он. — Я не думал, что это так растрогает ее, иначе не стал бы говорить. Я рассказывал о том, какие мучения претерпевали некоторые полки, когда переходили через горы Гвадарама зимой 1808 года. Скверное дело, потому что это были отличные солдаты и на прекрасных лошадях. Трудно поверить, что ветер может сдуть людей в пропасть, но было так скользко, а держаться не за что. Поэтому в пехотных ротах солдаты сцепились друг с другом оружием, это их и спасло, но когда я взял одного артиллериста за руку, она

отвалилась, потому что была отморожена три дня тому назад.

Я стоял и с удивлением смотрел на него.

— Старые гренадеры, которые уже были не так проворны, как прежде, не могли не отставать; а если они отставали, их ловили крестьяне, которые распинали их на дверях амбаров, ногами кверху, а под головой разводили огонь: жаль было смотреть на этих славных старых служак. А потому, когда они не могли идти дальше, они поступали вот как: садились на землю и читали молитвы, кто сидел в седле, а кто на своем ранце; затем они снимали с себя сапоги и носки и опирались

подбородком на дуло ружья. После этого нажимали большим пальцем ноги курок — паф! — и все было кончено, — этим славным гренадерам уже не нужно было идти дальше. О, как трудно было подниматься по Гвадарамским горам!

— Какая же это была армия? — спросил я.

— О, я служил в стольких армиях, что часто путаю одну с другой. Да, я немало повоевал. Кстати, я видал, как дерутся ваши шотландцы, из них выходят очень стойкие пехотинцы, но, насмотревшись на них, я думал, что здесь все у вас носят — как вы их называете? — юбки?

— Килты, но их носят только в горах.

— Ах! В горах? Однако я вижу там какого-то человека. Может, это тот самый, про которого ваш отец говорил, что он отнесет мои письма на почту?

— Да, это работник фермера Сайдхеда. Отдать ему ваши письма?

— Он будет лучше беречь их, если получит из ваших рук.

Он вынул письма из кармана и подал их мне. Я вышел из дома и дорогой случайно взглянул на адрес того, которое лежало сверху. На конверте крупным и разборчивым почерком было написано:



«Его Величеству  
Шведскому королю.

*Стокгольм».*

Я очень мало знал по-  
французски, но эти слова понял.  
Какой это орел залетел в наше  
скромное гнездо?

# **Глава седьмая**

## **Сторожевая башня в Корримюре**

Мне самому показалось бы скучным, и я уверен, что наскучило бы и вам, если бы я вздумал рассказывать, как шла у нас жизнь после того, как этот человек поселился в доме, или о том, как он мало-помалу заслужил расположение всех членов семьи. Что касается женщин, это случилось очень скоро; но вскоре он расположил в свою пользу также и моего отца, что было совсем не легко, и даже Джима

Хорскрофта. На самом деле мы были в сравнении с ним только два больших мальчика, потому что он везде побывал и все видел; и по вечерам он, говоря неправильным английским языком, заставлял нас забывать, что мы сидим в нашей простой кухне, откуда ничего не видно, кроме овечьего выгона, и переносил нас ко дворам разных государств, в лагеря, на поля сражений, и показывал нам все чудеса, которые делаются на свете. Сначала Хорскрофт был довольно груб с ним, но Делапп, благодаря своему такту и непринужденному обращению, сумел поладить с ним и наконец совершенно покорил его

сердце; Джим сидит, бывало, держа в своей руке руку кузины Эди, и оба они, позабыв обо всем, слушают, что рассказывает Делапп. Я не буду передавать вам всего этого, но даже и теперь, через много лет, я могу проследить, как он, в продолжение недель и месяцев, своими словами и поступками переделал нас на свой лад.

Прежде всего он подарил моему отцу шлюпку, в которой приплыл, оставляя за собой право взять ее обратно в случае, если она ему понадобится. Так как осенью в этом году косяки сельди шли мимо берега, а мой дядя еще при жизни подарил нам целый комплект прекрасных

сетей, то благодаря подарку незнакомца мы выручили немало денег. Иногда Делапп отправлялся на шлюпке в море совершенно один; однажды летом он целый день плавал вдоль берега, и я видел, что он, опустив весло в воду, останавливается и бросает в море навязанный на веревку камень. Я не мог понять, для чего он это делает, пока он сам не разъяснил, в чем дело.

— У меня страсть изучать все, что относится к войне, — сказал он, — и я всегда пользуюсь удобным случаем. Я думал о том, трудно ли будет командиру какого-нибудь армейского корпуса высадить на

этом берегу десант.

— Нетрудно, если только не будет дуть восточный ветер.

— Ах! Совершенно верно, если только не будет дуть восточный ветер. А что, вы измеряли глубину в этом месте?

— Нет.

— Корабли, конечно, придется оставить в море, но здесь довольно воды, чтобы сорокапушечный фрегат мог подойти на расстояние ружейного выстрела. Насажайте в шлюпки побольше стрелков, разверните их за этими песчаными холмами, затем отправляйтесь еще за стрелками, стреляйте картечью над их головами с фрегата. Тогда

получится! Тогда получится!

У него ошетинились усы, он сделался еще больше похож на кошку, и, судя по тому, как блестели у него глаза, я понял, что мечты унесли его далеко.

— Вы забываете, что на берегу будут наши солдаты, — сказал я с негодованием.

— Да уж конечно! — воскликнул он. — Разумеется, в сражении должны быть две стороны. Давайте развивать наш план. Сколько людей вы в состоянии выставить? Ну скажем — двадцать, тридцать тысяч.

Несколько полков хороших солдат, остальное — пуф! Новобранцы, мирные жители с

оружием. Как вы называете их? — волонтеры.

— Это все храбрые люди! — закричал я.

— О да, очень храбрые люди, но глупые. Ah, mon bleu!<sup>[5]</sup> Они невероятно глупы. Я хочу сказать, что глупы не они одни, но вообще все новобранцы. Они боятся того, что будут бояться и не примут никаких мер предосторожности. Видал я все это! Я видел в Испании, как батальон новобранцев бросился в атаку на батарею, на которой было десять орудий. Они бросились так храбро! И вдруг склон холма, с вершины которого я смотрел, сделался похожим... как вы называете это по-



английски?.. На пирог с малиновым вареньем. Куда делся наш прекрасный батальон новобранцев? Затем другой батальон вновь набранных солдат попытался овладеть батареей; они бросились все сразу со страшным криком. Но что может сделать крик против картечи? Все солдаты второго батальона полегли на склоне холма. Затем взять батарею было приказано гвардейским пехотным стрелкам; в их наступлении не было ничего красивого; они шли вроссыпь, без всякого крика, и ни один из них не был убит; стрелки шли по одному, а за ними следовали кучками резервы; через десять минут пушки

замолчали, и испанские артиллеристы были изрублены в куски. Воевать нужно учиться, мой друг, точно так же, как и разводить овец.

— Ну нет! — сказал я, не желая, чтобы меня переспорил иностранец. — Если бы у нас было тридцать человек солдат на линии вон тех холмов, вы бы поблагодарили Бога за то, что у вас за спиной есть на море шлюпки.

— На линии холмов? — повторил он, сверкнув глазами и окинув взглядом весь их ряд. — Да, если бы ваш полководец знал свое дело, левый фланг у него был бы там, где стоит ваш дом, центр — в

Корримюре, а правый — около дома доктора, и он выстроил бы во фронте плотные ряды стрелков. Само собой разумеется, его кавалерия старалась бы уничтожить нас по мере того, как мы выстраивались бы на берегу. Но если бы нам все-таки удалось выстроиться, мы знали бы, что делать. Тут есть слабый пункт, вон там, в незащищенном месте. Я стал бы стрелять в него из пушек, затем развернул бы свою кавалерию, пустил пехоту большими колоннами, и это крыло было бы уничтожено. Скажите, Джек, где были бы ваши волонтеры?

— Они шли бы по пятам за вашим арьергардом, — сказал я,

причем оба мы от души расхохотались, чем обыкновенно и кончались наши споры. Когда он вел подобные разговоры, иногда я думал, что он шутит, но подчас не был в этом уверен.

Я хорошо помню, что как-то раз летним вечером, сидя в кухне с моим отцом, Джимом и со мной — женщины уже ушли спать, — он завел разговор о Шотландии и ее отношении к Англии.

— У вас прежде был свой король, и законы издавались для вас в Эдинбурге, — сказал он. — Теперь же все идет из Лондона; разве это не наполняет вашу душу гневом и отчаянием?

Джим вынул трубку изо рта.

— Это мы поставили короля над англичанами, и если кто и должен быть недоволен, так это люди, живущие по ту сторону границы.

Очевидно, иностранец не ожидал такого ответа и ненадолго замолчал.

— Но ведь ваши законы составляются там, и в этом, конечно, нет ничего хорошего, — сказал он наконец.

— Разумеется, было бы лучше, если бы парламент собирался опять в Эдинбурге, — сказал мой отец, — но я так занят своими овцами, что у меня нет времени думать о таких вещах.

— Это молодым людям, как вы двое, нужно подумать об этом, — сказал Делапп. — Когда страну притесняют, дело молодежи — отомстить за нее.

— Да, англичане иногда слишком много себе позволяют, — сказал Джим.

— А если найдется достаточно людей, которые разделяют это мнение, почему не составить из них полки и не идти прямо на Лондон? — воскликнул Делапп.

— Это была бы чудесная прогулка, — сказал я со смехом. — Но кто бы нас повел?

Он вскочил с места, поклонился и, по своему смешному

обыкновенно, приложил руку к сердцу.

— Если вы позволите мне иметь эту честь! — воскликнул он. А потом, видя, что все мы смеемся, и сам стал смеяться, но я уверен, что на самом деле он и не думал шутить.

Ни я, ни Джим никак не могли догадаться, сколько ему лет. Иногда нам казалось, что это уже пожилой человек, который моложав на вид. Его каштановые жесткие волосы, которые он носил коротко остриженными, не нужно было стричь на макушке, где они поредели, и сквозь них просвечивала плешь. Его лицо было покрыто сетью пересекающихся в разных

направлениях морщин и сильно потемнело, как я уже упоминал выше. Но стан у него был гибкий, как у мальчика, и вместе с тем он был крепок, как китовый ус, — он целый день бродил по холмам или плавал по морю и нисколько не уставал. Вообще мы полагали, что ему около сорока или сорока пяти лет, хотя трудно было поверить, что в таком возрасте у него столько энергии. Однажды мы разговорились о летах, и тут он удивил нас. Я сказал, что мне только что исполнилось двадцать лет, а Джим сказал, что ему — двадцать семь.

— Значит, я самый старший из нас троих, — сказал Делапп.



Мы засмеялись над этим: по-нашему выходило, что он почти годится нам в отцы.

— Но я немногим старше, — сказал он, подняв брови дугой. — В декабре мне исполнилось двадцать девять.

Это заявление, даже более чем все его разговоры, убедило нас, что жизнь у этого человека была незаурядная. Увидев, что мы удивились, он засмеялся.

— Я жил! Я жил! — воскликнул он. — Я не тратил понапрасну дни и ночи. Я командовал ротой в битве, где сражались пять народов, когда мне было только четырнадцать лет. Я заставил одного короля побледнеть,

шепнув ему на ухо несколько слов, когда был двадцатилетним юношей. Я участвовал в государственном перевороте и возвел нового короля на трон одного великого государства. Mon bleu! Я пожил на свете!

Вот и все, что мы смогли узнать о его прошлой жизни, и он только покачивал головой и смеялся, когда мы старались выпытать у него еще что-нибудь. Иногда нам казалось, что он просто ловкий обманщик, потому что зачем было скитаться без дела в Бервикшире человеку с таким прошлым и с такими талантами? Но вскоре один эпизод доказал нам, что его прошлая жизнь принадлежала истории. Вы помните, что

неподалеку от нас жил отставной майор, побывавший на континенте, тот самый, который плясал вокруг костра со своей сестрой и двумя служанками. Он отправился в Лондон хлопотать о своей пенсии и о вспомоществовании, потому что был ранен, а также и о том, чтобы достать себе какое-нибудь занятие, и домой вернулся только поздней осенью. В один из первых дней после приезда он пришел повидаться с нами и тут в первый раз увидал Делаппа. Никогда я не видел такого удивленного лица, какое было тогда у майора, он долго и пристально смотрел на нашего приятеля, не говоря ни слова. Делапп в свою

очередь также пристально смотрел на него, но по глазам иностранца было видно, что он его не узнал.

— Я не знаю, кто вы, сэр, — сказал он наконец, — но вы так смотрите на меня, будто видали меня прежде.

— Да я и видал, — ответил майор.

— Не припомню.

— Но я побожусь, что видел вас.

— А где?

— В деревне Асторга, в восьмом году.

Делапп вздрогнул и опять пристально посмотрел на нашего соседа.

— Mon Dieu! Какая встреча! —

воскликнул он. — А, вы были английским парламентаром? Я очень хорошо помню вас, сэр, — я говорю правду. Позвольте мне сказать вам два слова на ухо. — Он отвел майора в сторону и с четверть часа говорил с ним по-французски, жестикулируя и что-то объясняя, между тем как майор время от времени утвердительно кивал своей седой головой. Наконец они, по-видимому, пришли к какому-то соглашению, и я слышал, как майор несколько раз повторил: «Parole d'honneur»<sup>[6]</sup>, а затем: «Fortune de la guerre»<sup>[7]</sup>, — это я понял, потому что у Бертуйсла хорошо преподавали языки. После этого я заметил, что майор никогда

не говорил так бесцеремонно с нашим постояльцем, как говорили с ним мы, всегда кланялся, когда обращался к нему, и обходился с ним с большим уважением, что нас удивляло. Я не раз спрашивал майора, что он знает, но он всегда старался как-нибудь отшутиться, и я не мог добиться от него никакого ответа.

Это лето Джим Хорскрофт прожил дома, но поздно осенью снова отправился в Эдинбург на зимние занятия: он намеревался работать очень прилежно и, если удастся, получить весной ученую степень. Он сказал, что останется в городе и на Рождество. Выходит, они

с кузиной Эди должны были распроститься надолго; он имел намерение открыть практику и жениться на ней, как только получит диплом. Я никогда не видал, чтобы мужчина так нежно любил женщину, да и она любила его по-своему, потому что во всей Шотландии не нашлось бы мужчины красивее его. Но когда речь заходила о свадьбе, мне казалось, она расстраивалась при мысли, что все ее великолепные мечты окончатся тем, что она сделается женой деревенского доктора. Но, как бы то ни было, ей приходилось выбирать только между Джимом и мной, и из двоих она выбрала лучшего.

Конечно, был еще и Делапп, но мы всегда чувствовали, что он человек совсем другого сорта, а потому он не шел в счет. В то время я не знал хорошенько, нравится ли он Эди или нет. Пока Джим был дома, они не обращали друг на друга почти никакого внимания. Но когда он уехал, они чаще стали бывать вместе, что было вполне понятно, так как раньше Джим отнимал у нее много времени. Раз или два она говорила со мной о Делаппе в тот смысле, что он ей не нравится, и тем не менее она беспокоилась, когда его не было вечером; и надо сказать, никто не любил слушать его разговоры и не задавал ему столько вопросов, как



она. Она заставляла его описывать платья, которые носят королевы, и ковры, по которым они ходят, спрашивала, есть ли у них в волосах шпильки и много ли у них перьев на шляпах, и я только дивился, как он мог найти на все это ответ. А между тем ответ у него всегда был готов; он с такой охотой и так быстро отвечал ей и так старался ее развлечь, что я только удивлялся, почему он ей не нравится.

Прошли лето, осень и большая часть зимы, а мы по-прежнему жили очень счастливо вместе. Наступил 1815 год, а великий император все еще томился на Эльбе, и посланники всех государств спорили в Вене о

том, что делать с шкурой  
затравленного льва. А мы в нашем  
дальнем уголке Европы не оставляли  
наших скромных мирных занятий,  
ходили за овцами, посещали  
бервикские ярмарки, а по вечерам  
болтали, сидя у камина, в котором  
ярко пылал торф. Мы никогда не  
думали, что то, что делают все эти  
высокопоставленные и  
могущественные люди, может иметь  
какое-то отношение к нам; а что  
касается войны, все решили, что  
гигантская тень бонапартистской  
угрозы никогда уже не упадет на  
нашу страну и что если только  
союзники не поссорятся между  
собой, то по всей Европе в течение

пятидесяти лет не раздастся ни одного выстрела.

При всем том произошел один случай, который вырисовывается в моей памяти со всеми подробностями. Было это приблизительно в феврале месяце вышеупомянутого года, и я хочу рассказать об этом прежде, чем пойду дальше.

Я уверен, вы знаете, какой вид имеют находящиеся на границе сторожевые укрепления. Это четырехугольные башни, выстроенные вдоль пограничной линии для того, чтобы служить местом убежища во время нашествия. Когда Перси со своим

войском переходил границу, народ загонял скот во двор башни, запирали большие ворота и зажигал огонь в жаровне на вершине, и наконец огни доходили до Каммермурских холмов, и таким образом известие передавалось в Пентланд и в Эдинбург. Само собой разумеется, теперь все эти башни покосились и обрушиваются, диким птицам очень удобно вить в них гнезда. В Корримюрской сторожевой башне я нашел много прекрасных яиц для своей коллекции. Однажды меня отправили далеко за холмы, с поручением к семейству Ледло Амстронга, которое живет в двух милях от нас по ту сторону Эйтона. В

пять часов, незадолго до захода солнца, я шел по тропинке по склону холма; прямо передо мной виднелась остроконечная крыша Вест-Инча, а слева высилась старая сторожевая башня. Я повернулся и посмотрел на башню: она казалась очень красивой, так как вся была освещена красноватым светом заходящего солнца, а за нею до горизонта простиралось синее море. Я стал ее разглядывать, и вдруг увидел, что в одном из отверстий стены мелькнуло человеческое лицо.

Я стоял, гадая, что бы такое это могло значить: что мог делать человек в этом месте? Птицы еще не начинали вить гнезд — слишком

рано. Это было так странно, что я решил разузнать, в чем дело, а потому, несмотря на усталость, свернул с тропинки и направился к башне, стараясь идти как можно скорее. Вокруг все до самой стены заросло травой, так что моих шагов не было слышно. Я дошел до обрушившейся арки — прежде здесь были ворота. Заглянув в башню, я увидел, что там стоит Бонавентур Делапп и смотрит из того самого отверстия, в котором я видел лицо. Он стоял вполоборота, и я сейчас же понял, что он совсем не замечает меня, а смотрит во все глаза в том направлении, где находится Вест-Инч. Я сделал еще несколько шагов

вперед, у меня под ногами захрустел щебень, и тут он вздрогнул, обернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

Этого человека ничем нельзя было сконфузить; он нисколько не изменился в лице, как будто бы ждал меня давным-давно, хотя что-то в его глазах говорило, что он дорого бы дал, чтобы я опять пошел своей дорогой вниз по склону холма.

— Э! — сказал я. — Что вы тут делаете?

— И я могу предложить вам тот же вопрос.

— Я пришел сюда потому, что увидал в окне ваше лицо.

— А я потому, что, как вы,

вероятно, заметили, очень интересуюсь всем, что имеет отношение к военному делу, и, разумеется, в числе прочего меня интересуют и укрепления. Извините меня, дорогой мой Джек, я вас оставлю на минуту. — И с этими словами он вдруг выскочил в отверстие в стене, как будто бы для того, чтобы скрыться от меня.

Но меня разбирало любопытство, и я не мог удовольствоваться его объяснениями. Я выбежал из башни, чтобы посмотреть, что он делает. Он стоял на открытом месте и отчаянно махал рукой, как бы подавая кому-то сигнал.



— Что вы делаете? — закричал я, побежал к нему и стал с ним рядом, чтобы увидеть, кому он подает знак.

— Вы слишком много себе позволяете, сэр, — заявил он в ярости. — Я никогда не думал, что вы дойдете до этого. Порядочный человек волен поступать так, как считает нужным, и вы не должны за ним подглядывать. Если вы хотите, чтобы мы с вами остались друзьями, вы не станете вмешиваться в мои дела.

— Я не люблю тайных дел, — сказал я, — да и мой отец тоже.

— Ваш отец может говорить сам за себя, и тут нет никакой тайны, —

ответил он коротко. — Вы просто вообразили себе, что здесь кроется какая-то тайна. Я не выношу таких глупых выдумок.

Он повернулся спиной, даже не кивнув мне, и быстро пошел по направлению к Вест-Инчу. Я пошел вслед за ним в самом мрачном настроении: у меня было предчувствие, что вскоре случится какое-то несчастье, хотя я и не мог объяснить, что значило все то, что я видел. Я стал ломать себе голову, для чего приходил сюда этот таинственный незнакомец, который так долго живет у нас. Кого он поджидал в сторожевой башне? Не был ли он шпионом, и, может быть,

какой-нибудь другой шпион, его собрат по ремеслу, приходил туда, чтобы переговорить с ним? Но все это нелепо. Что можно высмотреть в Бервикшире? А кроме того, майор Элиот знал, кто он такой, и если бы он был дурным человеком, майор не стал бы оказывать ему такого уважения.

Только я додумался до этого, как вдруг кто-то весело окликнул меня: это был сам майор, который шел от своего дома вниз по холму со своим бульдогом Боундером, которого он вел на сворке. Это была свирепая собака, наделавшая немало бед в окрестности, но майор очень любил ее и никогда не выходил без нее из

дома, хотя водил ее на привязи — на довольно толстом ременном поводке. И вот, пока я ждал, чтобы майор подошел поближе, он споткнулся, зацепившись хромой ногой за ветку дикого терна; стараясь удержать равновесие, он выпустил из рук сворку, и проклятая собака сейчас же стрелой пустилась вниз по холму, прямо ко мне. Скажу вам откровенно, я перепугался, потому что под рукой не было ни палки, ни камня, а я знал, как свиреп этот пес. Оставшийся сзади майор громко кричал, но собака, видимо, думала, что он науськивает ее, и бешено мчалась вперед. Я знал ее кличку и подумал, что это может мне помочь,

а потому, когда она подбежала ко мне с ошестинившейся шерстью и налитыми кровью глазами, я его все горло завопил: «Боундер! Боундер!» Это произвело желаемое действие: собака, рыча, пронеслась мимо меня и помчалась по тропинке по следам Бонаventura Делаппа.

Услышав крик, он обернулся и, по-видимому, сразу понял, в чем дело, но шага не прибавил. Я очень испугался за него, потому что Боундер никогда не видел его прежде, и со всех ног бросился вперед, чтобы оттащить от него пса. Когда тот подбежал к Делаппу и увидал указательный и большой палец его протянутой назад руки, его

бешенство почему-то утихло, он завертел своим куцым хвостом и облапил Делаппа за колени.

— Так это ваша собака, майор? — спросил Делапп, когда к нему подошел, прихрамывая, хозяин. — Какое славное животное, какая чудесная, красивая собака.

Майор тяжело дышал, потому что пробежал все расстояние почти так же быстро, как и я.

— Я боялся, что он вас укусит, — говорил, задыхаясь, майор.

— Та, та, та! — воскликнул Делапп. — Да он совсем смирный: я очень люблю собак. Но я рад, что встретился с вами, майор, потому что вот этому юному джентльмену,

которому я так обязан, пришло в голову, что я шпион. Не правда ли, Джек?

Меня так смутили его слова, что я не мог сказать ни слова в ответ, только покраснел и смотрел исподлобья, — ведь я был неуклюжий деревенский парень.

— Вы знаете меня, майор, — сказал Делапп, — и, уверен, скажете ему, что этого не может быть.

— Нет-нет, Джек! Конечно, не может! Этого, конечно, не может быть! — воскликнул майор.

— Благодарю вас, — сказал Делапп. — Вы меня знаете и будете ко мне справедливы. Ну а как вы поживаете? Надеюсь, вашему колену

лучше и вам скоро опять дадут полк?

— Я чувствую себя сносно, — отвечал майор, — но мне дадут место только в том случае, если начнется война, а покуда я жив, войны уже больше не будет.

— О, вы так думаете! — сказал с улыбкой Делапп. — Что ж, nous verrons<sup>[8]</sup>! Это мы еще увидим, мой друг!

Он проворно снял шляпу и, быстро повернувшись, пошел по направлению к Вест-Инчу. Майор стоял в раздумье и смотрел ему вслед, а затем спросил, почему я подумал, что он шпион. И когда я рассказал ему обо всем, он ничего не ответил, только покачал головой с



таким видом, будто его что-то тревожило.

# Глава восьмая

## Прибытие катера

После этого происшествия в сторожевой башне я уже не мог относиться к нашему постояльцу так, как прежде. Я не забывал, что он держит от меня что-то в тайне или, выражаясь точнее, что он сам остается для меня загадкой, так как он всегда накидывал завесу на свое прошлое. И когда эта завеса случайно приподнималась, мы видели за ней кровопролитие, насилие и разные ужасы. Самый вид его тела был ужасен. Как-то раз летом я купался с ним и увидел, что у него на всем теле

рубцы от ран. Не говоря уже о семи или восьми шрамах, у него были искривлены ребра с одной стороны и оторвана часть одной из икр. Увидев на моем лице удивление, он, по своей привычке, весело рассмеялся.

— Казаки! Казаки! — сказал он, проводя рукой по своим рубцам. — А ребра переломаны артиллерийской фурой. Плохо, когда через тебя переезжает пушка. Кавалерия в этом смысле не страшна. Как бы быстро ни скакала лошадь, она выбирает дорогу. Как-то раз я лежал на земле, надо мной пронеслось полтораста кирасиров и русские гусары из Гродно, а я нисколько не пострадал. Но от пушек приходится туго.

— А икра? — спросил я.

— Ба! А это меня покусали волки, — сказал он. — Удивительная была история. И меня, и лошадь подстрелили, лошадь была убита, а я лежал на земле со сломанными фурой ребрами. Ну и холодно же было! Земля — точно железо, раненым помогать некому, они замерзли и приняли такой вид, что просто смех! Я тоже чувствовал, что замерзаю — что же оставалось делать? Я взял свою саблю, вскрыл брюхо мертвой лошади и устроил себе в ней убежище, чтобы можно было лечь, оставив только отверстие для рта. Sapristi!<sup>[9]</sup> Там было довольно тепло. Вот только там

недоставало места для, меня всего, и мои ступни и часть ног высовывались наружу. Ночью, пока я спал, пришли волки, чтобы есть лошадь, вот они немножко пощипали и меня; после этого я был настороже с пистолетами и больше им не пришлось полакомиться мной. Я прожил так целых десять дней, и мне было очень тепло и уютно.

— Десять дней! — воскликнул я. — А чем же вы питались?

— Как чем? Я ел лошадиное мясо, значит, ха-ха, у меня были квартира и стол, как вы это называете. Но, разумеется, у меня хватило ума есть ноги, поскольку в туловище я жил. Вокруг валялось

много убитых, и я собрал все их фляги с водой, — стало быть, у меня было все, чего ни пожелаешь. На одиннадцатый день мимо проезжал патруль легкой кавалерии, и все кончилось благополучно.

В подобных разговорах, приводить которые я не считаю нужным, он давал некоторое понятие о самом себе и проливал свет на свое прошлое. Впрочем, приближался день, когда мы узнали о нем все, а как это случилось, — я попытаюсь теперь рассказать.

Зима была холодная, но в марте показались первые признаки весны, целую неделю светило солнце и ветер дул с юга. Седьмого числа

должен был приехать из Эдинбурга Джим Хорскрофт, потому что, хотя занятия закончились первого, ему еще предстояло сдать экзамены. Шестого мы с Эди гуляли по морскому берегу, и я не говорил ни о чем другом, как только о моем друге, потому что на самом деле в то время, кроме него, у меня не было друга одних со мной лет. Эди больше молчала, что случалось с ней редко, и с улыбкой выслушивала все, что я говорил.

— Бедняжка Джим! — сказала она раз или два про себя. — Бедняжка Джим!

— А если он выдержит экзамен, — сказал я, — то, конечно,

он откроет практику, будет жить отдельно от отца, а мы потеряем нашу Эди.

Я старался говорить об этом в шутливом и веселом тоне, но слова не шли у меня с языка.

— Бедняжка Джим! — сноса повторила она, и при этом слезы навернулись ей на глаза. — И Джек тоже бедняжка! — прибавила она, всовывая свою руку в мою. — Ведь и вы когда-то немножко любили меня, не правда ли, Джек? О, какой там на море хорошенький кораблик!

В море показался катер приблизительно в тридцать тонн водоизмещением, очень быстрый на ходу, судя по уклону мачт и



очертаниям кормы. Он шел с юга под кливером, фок-зейлем и гротом; но как раз, когда мы смотрели на него, все его белые паруса свернулись подобно крыльям чайки, и мы видели, как расплескалась вода от якоря, пущенного прямо под бушпритом. Катер был менее чем в четверти мили от берега, — так близко, что я мог разглядеть высокого человека в остроконечной шапочке, который стоял на палубе, приложив к глазу подзорную трубу, которой он водил взад-вперед, осматривая берег.

— Что им здесь нужно? — спросила Эди.

— Это богатые англичане из Лондона, — отвечал я, потому что

мы, жители пограничных графств, всегда давали такое объяснение тому, чего не могли понять. Около часу мы смотрели на это великолепное судно, а затем, так как солнце зашло за тучу и стало холодно, вернулись в Вест-Инч.

Если подходить к ферме с фасада, нужно пройти через сад, в котором очень мало деревьев, и из него можно выйти через калитку на большую дорогу; это та самая калитка, у которой мы стояли в ту ночь, когда горели сигнальные огни и Вальтер Скотт проехал мимо в Эдинбург. Направо от калитки, со стороны сада, был грот, устроенный, как говорили, много лет тому назад

матерью моего отца. Она сложила его из ноздреватых камней и морских раковин, а в трещинах выросли мох и папоротники. Когда мы вошли в калитку, первое, что бросилось мне в глаза, была эта груда камней: на самой ее вершине белело засунутое в трещину письмо. Я шагнул было вперед, чтобы посмотреть, что это за письмо, но Эди опередила меня и, вытащив его из трещины, сунула себе в карман.

— Это мне, — сказала она со смехом.

Я остановился и так посмотрел на нее, что она перестала смеяться.

— От кого это, Эди? — спросил я.

Она надула губы и ничего не ответила.

— От кого это? — закричал я. — Неужели вы так же изменили Джиму, как изменили мне?

— Какой вы грубый, Джек! — воскликнула она. — Кто дал вам право вмешиваться в дела, которые вас не касаются?

— Это письмо может быть только от одного человека! — воскликнул я. — От Делаппа.

— А что, если вы угадали, Джек?

Хладнокровие этой женщины удивляло и в то же время бесило меня.

— Вы признаетесь в этом! —

закричал я. — Неужели же у вас совсем нет никакого стыда?

— А почему я не могу получать писем от этого джентльмена?

— Потому что это позорно.

— А почему это позорно?

— Потому что он — чужой вам человек.

— Напротив, — отвечала она, — он мой муж.

# Глава девятая

## Что произошло в Вест-Инче

Я отлично помню эту минуту. Я слышал от других, что от сильного, неожиданного удара иногда притупляются чувства. Со мной было не так. Наоборот, я видел, слышал и соображал гораздо отчетливее, чем прежде. Я помню, что мне бросился в глаза выпуклый кусочек мрамора, величиной с мою ладонь, который был вставлен в один из серых камней грота, и я даже любовался его жилками нежного цвета, но, должно

быть, у меня был какой-то особенный взгляд, потому что кузина Эди вскрикнула и побежала в дом. Я вошел за ней и постучал в окошко ее комнаты, так как видел, что она там.

— Уходите, Джек, уходите! — закричала она. — Вы будете меня бранить! Я не хочу, чтобы меня бранили! Я не отворю окна! Уходите!

Но я продолжал стучать.

— Мне нужно переговорить с вами.

— О чем? — спросила она, подняв окно на три дюйма. — Как только вы начнете браниться, я закрою окно.

— Вы в самом деле вышли замуж, Эди?

— Да, я вышла замуж.

— Кто вас венчал?

— Патер Бреннан в римско-католической церкви, в Бервике.

— Но ведь вы — пресвитерианка?

— Он хотел, чтобы мы венчались в католической церкви.

— Когда это было?

— В среду на прошлой неделе.

Тут я вспомнил, что в этот день она уезжала в Бервик, а Делапп отправился на дальнюю прогулку и, по его словам, гулял между холмами.

— А как же Джим?

— О, Джим простит мне это!

— Вы разобьете ему сердце и искалечите его жизнь.



— Нет-нет, он простит мне.

— Он убьет Делаппа! О Эди, как вы могли навлечь на нас такой позор и несчастье?

— Ах, вы начинаете браниться! — воскликнула она и закрыла окно.

Я подождал некоторое время и затем опять постучал — мне нужно было расспросить ее о многом; но она ничего не отвечала, и мне казалось, что я слышу ее рыдания. Наконец я оставил это и хотел было войти в дом, потому что почти совсем стемнело, но тут услышал, как стукнула калитка. Это пришел сам Делапп.

Когда он шел по дорожке, то мне

показалось, что он или сошел с ума, или пьян.

Он приплясывал, щелкал пальцами, а глаза его блестели, как блуждающие огни.

— Voltigeurs! — закричал он. — Voltigeurs de la Garde! — точно так же, как кричал тогда, когда лежал в беспмятстве, а затем вдруг воскликнул: — En avant, en avant!<sup>[10]</sup>

Он шел к дому, махая над головой тростью. Он сразу остановился, когда увидел, что я смотрю на него, и, надо думать, ему сделалось стыдно.

— Эй, Джек! — закричал он. — А я думал, что тут никого нет. Я нынче в самом веселом настроении,

как говорите вы, англичане.

— Оно и видно, — сказал я напрямик, по своему обыкновению, — только зря вы так веселитесь: ведь мой друг, Джим Хорскрофт, вернется завтра домой.

— А, завтра? Но я не понимаю, отчего же мне не веселиться?

— Потому что, насколько я его знаю, он убьет вас.

— Та, та, та! — воскликнул Делапп. — Я вижу, вам известно, что мы обвенчались. Вам об этом сказала Эди. Джим может делать, что ему угодно.

— Хорошо вы отплатили нам за то, что мы приняли вас к себе!

— Мой добрый друг, — сказал

он, — я действительно хорошо отплатил вам, как вы говорите. Я женился на Эди потому, что она не годится для здешней жизни; благодаря этому браку вы через меня породнились с благородной фамилией. Однако нынче вечером мне нужно написать несколько писем, а об остальном мы можем переговорить завтра, когда придет ваш друг Джим.

И с этими словами он подошел к двери.

— Так вот кого вы поджидали в сторожевой башне! — крикнул я ему вслед, потому что мне вдруг все сделалось ясно.

— Ну, Джек, вы становитесь

грубы, — сказал он насмешливым тоном. Через минуту я услышал, что он затворил дверь в своей комнате и щелкнул ключом.

Я подумал, что больше уже не увижусь с ним в этот день, но через несколько минут после этого он пришел в кухню, где я сидел вместе со стариками.

— Мадам, — сказал он с поклоном, приложив руку к сердцу, по своему смешному обыкновению, — вы были очень добры ко мне, и воспоминание об этом я навсегда сохраню в своем сердце. Я даже не воображал себе, что буду так счастлив в этой тихой деревне. Прошу вас принять от меня на

память эту вещицу, которую я считаю за честь поднести вам, а также и вы, сэр, примите от меня небольшой подарок.

Он положил два маленьких бумажных свертка перед стариками, которые сидели, опершись на локти, и затем, отвесив три поклона матери, вышел из комнаты.

Одним из его подарков оказалась брошка с зеленым камнем посередине, окруженным блестящими белыми камушками, которых было около дюжины. Мы никогда не видели ничего подобного и даже не знали, как такие штуки называются. Но потом нам сказали в Бервике, что большой камень

называется изумрудом, а маленькие — бриллиантами, и что они стоят дороже всех ягнят, которые родились у нас этой весной. Много лет прошло с тех пор, как умерла моя дорогая мать, но эта брошка блестит на шее моей старшей дочери, когда она идет в гости, и всякий раз, глядя на нее, я вижу перед собой длинный худой нос и кошачьи усы человека, который когда-то жил у нас в Вест-Инче. Что касается отца, то он получил в подарок прекрасные золотые часы и к ним два футляра, и теперь сидел с гордым видом, держа их на ладони и прислушиваясь к тиканью. Трудно сказать, кто был больше доволен, мать или отец, и

они только и говорили, что о подарках Делаппа.

— Кроме того, он подарил вам и кое-что еще, — сказал я наконец.

— Что же, Джек? — спросил отец.

— Мужа для кузины Эди, — ответил я.

Сначала они подумали, что я брежу, а когда убедились, что это правда, то очень обрадовались и возгордились, как будто бы я сказал им, что она вышла замуж за лорда. Бедный Джим с его пристрастием к вину и кулачным боям не пользовался хорошей репутацией, и моя мать часто говорила, что из этого брака не выйдет ничего путного. А



Делапп, насколько мы его знали, был человеком солидным, сдержанным и богатым. Что же до того, что брак был тайным, то тайные браки были тогда в Шотландии обычным делом — тогда ведь только и нужно было сказать несколько слов, чтобы сделаться мужем и женой; поэтому никто не обращал на это особо большого внимания. Словом, старики были так довольны, будто им сообщили об уменьшении поземельного налога; но мне все-таки было больно: мне казалось, что с моим другом поступили жестоко, и я знал, что он не скоро примирится с ЭТИМ.

# **Глава десятая**

## **Тень нависает снова**

На следующее утро я проснулся с тяжелым чувством на душе: я знал, что скоро придет Джим и что этот день принесет с собой горе. Но сколько именно горя принес этот день и как после переменялась жизнь каждого из нас, этого я не мог вообразить себе даже в самом мрачном настроении. Впрочем, позвольте мне рассказать вам все по порядку.

В этот день мне нужно было встать рано, потому что овец выгнали в первый раз на пастбище, и

мы с отцом должны были на рассвете отправиться на пустошь. Когда я вышел в коридор, мне в лицо пахнул ветер: входная дверь была открыта настежь, и в утренних сумерках можно было разглядеть отворенную дверь внутри дома. И в комнате Эди, и в комнате Делаппа двери были распахнуты. Тут я сразу понял, что означали подарки, сделанные накануне вечером. Это было прощание.

Когда я заглянул в комнату кухни Эди, мне сделалось горько. Только подумать, что ради какого-то пришельца она покинула нас, не сказав ни одного ласкового слова на прощание! Да и он тоже! Я боялся

даже думать, что произойдет, когда Джим встретится с ним; то, что он решил удрать от Джима, казалось трусостью с его стороны. Я был рассержен, оскорблен, и мне было больно; и вот я вышел из дома, не сказав ни слова отцу, и поднялся по холму на пастбище, чтобы освежить пылавшее лицо.

Поднявшись в Корримюр, я в последний раз увидал издали кузину Эди. Маленький катер все еще стоял там, где бросил якорь, но к нему плыло от берега гребное судно. Я видел, что на его корме развевается красный лоскут, и узнал красный платок кузины. Я видел, как судно подплыло к катеру, и сидевшие в нем

люди поднялись на палубу. Затем катер снялся с якоря, снова распустил белые крылья и вышел в открытое море. Я еще мог видеть красное пятнышко на палубе и Делаппа, который стоял рядом с кузиной. И они могли видеть меня, потому что моя фигура вырисовывалась на фоне неба, и они долго махали руками, но наконец перестали, видя, что я им не отвечаю. Я стоял со сложенными на груди руками, пока катер не сделался белым пятном, тающим в утреннем тумане.

Наступило время завтрака, и суп был подан на стол раньше, чем я вернулся домой, но мне совсем не

хотелось есть. Старики выслушали новости довольно хладнокровно, хотя моя мать сильно порицала Эди, тем более что они никогда не любили одна другую; а в последнее время еще меньше, чем прежде.

— Вон там лежит письмо от него, — сказал отец, указывая на запечатанную записку, которая лежала на столе. — Оно было оставлено в его комнате. Прочитай-ка его нам.

Они его так и не распечатали, потому что, сказать правду, ни тот ни другая не умели читать по писаному, хотя неплохо разбирали то, что напечатано хорошим крупным шрифтом.

На записке был крупным почерком выведен адрес: «Добрым людям, живущим в Вест-Инче». Вот что было в этой записке, которая теперь, когда я пишу, лежит передо мной. Она вся в пятнах, и чернила совсем выцвели.

*«Друзья мои! Я не подумал бы оставить вас так неожиданно, если бы дело зависело от меня лично. Долг и честь опять призывают меня к моим старым товарищам. Вы, без сомнения, в самом скором времени поймете это. Я беру с собой и вашу*

Эди, свою жену, и, может быть, когда-нибудь, в мирное время, вы опять увидите нас обоих в Вест-Инче. А пока примите уверения в моем искреннем расположении и будьте уверены, что я никогда не забуду тех месяцев, которые я прожил у вас так спокойно, когда не прожил бы больше недели, попади я в плен к союзникам. Когда-нибудь вы узнаете, почему так случилось.

*Ваш*



*Бонавентур де  
Лиссак, гвардии  
полковник и  
адъютант Его  
Величества  
Императора  
Наполеона».*

Когда я дошел до этих слов, написанных под его фамилией, то присвистнул, потому что я уже давно решил в уме, что наш постоялец должен быть одним из тех удивительных солдат, о которых мы так много слышали и которые, за исключением нашей столицы, брали все столичные города в Европе, но я все-таки не думал, что под нашей

крышей живет адъютант самого Наполеона и полковник его гвардии.

— Значит, его настоящая фамилия де Лиссак, а не Делапп, — сказал я. — Но как бы то ни было, хотя он и полковник, хорошо, что он убрался отсюда прежде, чем Джим наложил на него свою руку. И он успел вовремя, — прибавил я, выглянув из окна кухни, — потому что вот и Джим, легок на помине.

Я подбежал к двери, чтобы встретить его, сознавая в то же время, что я бы дорого дал за то, чтобы он остался в Эдинбурге. Он бежал к дому, махая над головой какой-то бумагой, и я подумал, что, может быть, это письмо от Эди и что

ему все известно. Но когда он подбежал ближе, я увидел, что это кусок плотной желтоватой бумаги, которая хрустела, когда он махал ею, и что в глазах его светится счастье.

— Ура, Джек! — громко закричал он. — Где Эди? Где Эди?

— Что это такое, дружище? — спросил я.

— Где Эди?

— Что это у тебя?

— Мой диплом, Джек. Теперь я могу лечить когда захочу. Все сошло хорошо. Я хочу показать его Эди.

— Самое лучшее, что ты можешь сделать, это совсем забыть об Эди, — сказал я.

Я никогда в жизни не видал,

чтобы человек так стремительно  
менялся в лице.

— Как! Что ты хочешь этим  
сказать, Джек Кол-дер? — запинаясь  
проговорил он.

Говоря это, он выпустил из рук  
свой драгоценный диплом, который  
упал за изгородь, долетел до куста  
вереска и затрепетал там на ветру; но  
Джим даже и не посмотрел на него.  
Он глядел на меня в упор, и я видел,  
что его глаза загорелись зловещим  
огнем.

— Она недостойна тебя, —  
сказал я.

Он схватил меня за плечо.

— Что ты сделал? — прошептал  
он. — Это твоя шутка? Где она?

— Она убежала с французом, который жил здесь.

Я все придумывал, как бы мне сказать ему это помягче, но так как я совсем не умел лгать, то не смог придумать ничего лучше этого.

— О! — сказал он и остался стоять, кивая головой и глядя на меня, но я прекрасно понимал, что он не видит меня и едва держится на ногах. Так простоял он с минуту или больше, сжав кулаки и все кивая головой. Затем он точно с трудом что-то проглотил и сказал странным, резким и хриплым голосом:

— Когда это случилось?

— Нынче утром.

— Они были обвенчаны?

— Да.

Он ухватился за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах.

— Она ничего не велела мне передать?

— Она сказала, что просит тебя простить ее.

— Пусть пропаду я пропадом в тот день, когда сделаю это! Куда же они поехали?

— Надо думать, во Францию.

— Кажется, его фамилия Делапп?

— Его настоящая фамилия де Лиссак, и он — лицо важное, полковник гвардии Бони.

— Ах! Он, должно быть, едет в Париж. Хорошо! Хорошо!

— Держись! — закричал я. —  
Отец, отец! Дай виски!

Под Джимом подогнулись колени, но он успел справиться с собой прежде, чем старик прибежал с бутылкой.

— Унесите виски, — сказал он.

— Выпейте, мистер Хорскрофт, — закричал отец, суя ему в руки бутылку. — Это подкрепит вас.

Джим схватил бутылку и перебросил ее через изгородь.

— Это хорошо для тех, кто хочет забыться, — сказал он, — но я буду помнить.

— Да простит вам Бог, что вы понапрасну разбили бутылку! —

громко воскликнул мой отец.

— И чуть не размозжили голову офицеру пехотного полка его величества! — добавил старый майор Элиот, голова которого показалась над изгородью. — Я не прочь выпить рюмочку после утренней прогулки, но, когда около моего уха со свистом пролетает целая бутылка — это уж слишком. Но что такое у вас случилось, что вы все стоите, точно на похоронах?

Я в нескольких словах рассказал ему о нашей горе, между тем как Джим с бледным лицом и нахмуренными бровями застыл, прислонившись к дверному косяку. Когда я кончил, то и у майора был



такой же печальный вид, как у нас, потому что он очень любил как Джима, так и Эди.

— Фи! Фи! — сказал он. — У меня были кое-какие подозрения после той истории в сторожевой башне. Все французы таковы. Они не могут оставить женщин в покое. Но, по крайней мере, де Лиссак женился на ней, и это может служить нам утешением. Но теперь не время думать о наших личных огорчениях, опять поднялась вся Европа, и, похоже, нужно снова ждать двадцатилетней войны.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Да как же, ведь Наполеон

вернулся с острова Эльбы, и его войска собрались к нему, а Людовик спасся бегством. Я слышал эту новость нынче утром в Бер-вике.

— Господи! — воскликнул мой отец. — Нам опять придется воевать, а это уже так надоело.

— Да, мы думали, что совсем избавились от тени, но вот она — опять показалась. Веллингтон получил приказание из Вены идти в Голландию, так как полагают, что Наполеон нападет с той стороны. Ну это известие не предвещает ничего хорошего. Я получил уведомление о том, что должен присоединиться к 71-му полку в чине старшего майора.

Услышав такие слова, я пожал

руку нашему доброму соседу: я знал, как огорчало его то, что он калека и никому на свете не нужен.

— Я должен отправиться в свой полк как можно скорее, через месяц мы будем на континенте, а после этого не пройдет, может быть, и месяца, как мы окажемся в Париже.

— Коли так, то клянусь, что и я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул Джим Хорскрофт. — Мне не стыдно будет взять в руки ружье, если только вы поставите меня лицом к лицу с этим французом.

— Молодой человек, для меня лестно, что вы будете служить под моим началом, — сказал майор. —

Что же касается де Лиссака, то где будет император, там будет и он.

— Вы знаете этого человека? — сказал я. — Что вы можете сказать нам о нем?

— Лучшего офицера, чем он, не найдешь во всей французской армии. Говорят, что он мог быть маршалом, но пожелал остаться с императором. Я виделся с ним за два дня перед битвой при Корунне, когда был послан парламентаром для переговоров о наших раненых. Он был тогда с Сультом. Когда я увидел его здесь, то сейчас же узнал.

— И я его узнаю, когда опять увижу! — сказал Джим Хорскрофт все с таким же мрачным видом, как и

прежде.

И тут мне вдруг стало ясно, как бессодержательна и бесцельна будет моя жизнь здесь в то время, как этот калека, наш приятель, и товарищ моего детства будут сражаться в передних рядах действующей армии. И я с быстротой молнии принял решение.

— Я тоже пойду с вами, майор! — воскликнул я.

— Джек! Джек! — вскричал отец, ломая руки.

Джим не сказал ни слова, но обнял меня рукой и крепко прижал к себе. Глаза майора заблестели, и он помахал своей тростью.

— Похоже, со мной два славных

новобранца, — сказал он. — Когда так, то нечего терять время: вы оба должны быть готовы к отходу вечернего дилижанса.

Все это случилось в один день, а между тем часто бывает, что годы проходят за годами без всякой перемены. Как много уместилось в эти двадцать четыре часа! Де Лиссак уехал, Эди тоже уехала, Наполеон вырвался на свободу, вспыхнула война, Джим Хорскрофт потерял все, что было ему дорого; мы отправились вместе с ним сражаться с французами. Все это случилось точно во сне. И, наконец, вечером в этот день я пошел садиться в дилижанс и, оглянувшись назад,

увидал серые постройки фермы и две небольшие черные фигуры: мою мать, которая закрыла лицо шерстяным платком, и отца, который махал пастушьим посохом, желая мне доброго пути.

# Глава одиннадцатая

## Битва Народов

Теперь я подхожу к периоду моей жизни, при мысли о котором у меня и сейчас захватывает дух, и я жалею, что взялся рассказывать об этом, потому что я люблю, чтобы события шли медленно, в порядке, одно за другим, подобно тому, как овцы идут с пастбища. Так всегда было в Вест-Инче. Но когда нам довелось выйти на более обширное жизненное поприще, события, подобно маленьким соломинкам, которые медленно плывут по какой-нибудь канаве и вдруг попадут на



простор и закружатся в водовороте большой реки, стали следовать одно за другим так быстро, что мне трудно описать их простыми словами. Почему все так случилось, вы можете прочесть в исторических книгах, и потому я об этом говорить не буду, а скажу только о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Полк, в который назначили нашего приятеля, был 71-й полк шотландской легкой инфантерии, где солдаты носили красные мундиры и панталоны, а его интендантский склад находился в городе Глазго, куда мы и отправились все втроем в дилижансе; майор был очень весел и без конца рассказывал истории о

герцоге Веллингтоне и о континенте, а Джим сидел в углу со сжатыми губами и сложенными на груди руками, и я знал, что он мысленно убивает де Лиссака по меньшей мере по три раза за час. Я мог видеть это, потому что у него вдруг вспыхивали глаза и он крепко схватывался за что-нибудь рукой. Что касается меня, то я сам не знал, радоваться мне или печалиться, потому что ничто не может заменить родного дома, и хотя я и старался казаться твердым, но все-таки было грустно думать о том, что целая половина Шотландии отделяет меня от матери.



2006  
A. M. W. H. A. C.

---

В Глазго мы приехали на другой день, и майор повел нас в интендантский склад, где какой-то солдат с тремя нашивками на рукаве и множеством ленточек, спускавшихся с фуражки, улыбнулся во весь рот, увидя Джима, и три раза обошел вокруг него, чтобы лучше его разглядеть, точно Джим был Карлайлским замком. После этого он подошел ко мне, ткнул меня в ребра, пощупал мои мускулы и остался мной почти так же доволен, как и Джимом.

— Отменные солдаты, майор, отменные, — повторил он. — Будь у нас тысяча таких молодцов, мы

могли бы отразить самых лучших гвардейцев Бонапарта.

— А как новобранцы в строю? — спросил майор.

— Плохо, — сказал солдат, — но сумеют выучиться. Самые лучшие воины отправлены в Америку, и у нас в полку все ополченцы да новобранцы.

— Тьфу ты! — сказал майор. — А против нас вся старая гвардия. Вы двое можете прийти ко мне, если вам будет что-нибудь нужно.

С этими словами он, кивнув головой, ушел, и тут мы начали понимать, что майор, наш командир, совсем не похож на того майора, который случайно оказался нашим

соседом по деревне.

Ну хорошо, к чему надоедать вам всеми этими подробностями? Я испортил бы хорошо очиненное гусиное перо, если бы стал описывать все, что делали мы, то есть Джим и я, на интендантском складе в Глазго, как познакомились с нашими начальниками и товарищами, а они с нами. Вскоре получено было известие о том, что высокопоставленные лица, которые собрались в Вене и разрезали Европу на части, как будто бы она была бараньей ногой, все разъехались — каждый к себе на родину, и что все солдаты и лошади их армий посланы против Франции. Мы слышали также

и о том, что в Париже прошли большие смотры и маневры, что Веллингтон находится в Нидерландах и что нам и пруссакам придется выдержать первый удар. Правительство отправило к нему подкрепление на кораблях и делало это очень спешно, так что все порты на восточном берегу были загромождены пушками, лошадьми и боевыми припасами. Третьего июня и мы получили приказ выступить в поход, и вечером в тот же день сели на корабль в Лите, а вечером на следующий день прибыли в Остенде. Я в первый раз в жизни видел чужую страну, то же самое можно сказать и о большинстве моих товарищей,

потому что мы только что поступили на военную службу. Мне кажется, что я еще и теперь вижу перед собой синие воды, линию пенящегося прибоя, желтое взморье и странные ветряные мельницы, махавшие своими крыльями — пройди всю Шотландию с одного конца до другого, нигде такого не увидишь. Город был чистый, содержался в большом порядке, но жители были низкорослые, невзрачные, и у них нельзя было купить ни эля, ни овсяных лепешек.

Отсюда мы отправились в место, которое называется Брюгге, а после этого в Гент, где соединились с 52-м и 95-м полками — они



принадлежали к одной с нами бригаде. Гент замечателен своими церквами и каменными зданиями, и надо сказать правду, что из всех городов, в которых пришлось нам побывать, это был единственный город, где церкви лучше, чем в Глазго. Отсюда мы пошли дальше в Ат; это деревушка на речке, или скорее на ручейке, который называется Дендер. Тут нас расквартировали по большей части в палатках, потому что была прекрасная солнечная погода, и по всей бригаде начались учения с утра до вечера. Нашим главным начальником был генерал Адамс, а полковника звали Рейнел: оба они

были прекрасными, закаленными в боях воинами; но что ободряло нас всего более, это то, что мы находились под командой герцога, а его имя действовало на нас как призыв сигнального рожка. Сам он с главной частью армии находился в Брюсселе, но мы знали, что увидим его в том случае, если понадобится его присутствие.

Я никогда не видел столько англичан и, признаться, испытывал к ним некоторое презрение, с каким всегда относятся к англичанам шотландцы, живущие близ границы. Но солдаты тех двух полков, которые соединились с нами, были отменными бойцами. В 52-м полку

числилась в строю тысяча человек, и среди них было много старых солдат, которые побывали на Пиринейском полуострове. Они по большей части были из Оксфордшира. 95-й был полк карабинеров, которые носили темно-зеленые мундиры вместо красных. Заряжая свои карабины, они зачем-то завертывали пулю в пропитанную салом тряпку и затем забивали ее деревянным молотком, но стреляли при этом дальше и правильнее, чем мы. В то время вся эта часть Бельгии была наполнена британскими войсками: у Энгиена стояла гвардия, а в стороне от нас — кавалерийские полки. Веллингтону было необходимо развернуть все свои

силы, потому что Бони находился под защитой своих крепостей, и трудно было сказать, с какой стороны он появится, но уж наверняка там, где его совсем не ожидают. С одной стороны, он мог отрезать нас от моря и, таким образом, от Англии; с другой стороны, он не мог занять положение между пруссаками и нами. Но герцог был не глупее его: он собрал вокруг кавалерийские и легкие полки, наподобие паутины большого паука, так что в ту же минуту, когда французы переступили бы границу, он мог расставить всех солдат на надлежащих местах.

Что касается меня, то мне жилось в Ате очень хорошо; люди тут

были очень добрые и простые. Фермер, на полях которого был разбит наш лагерь, стал нашим большим приятелем. В свободное от учений время мы выстроили ему деревянную ригу, и не раз мы с Джебом Стоном, чье место в строю было прямо за мной, развешивали для просушки его мокрое белье: казалось, ничто так не напоминало нам обоим о доме, как запах этого сырого белья. Я часто вспоминаю об этом добром человеке и о его жене; не знаю, живы ли они до сих пор, — надо думать, что они уже умерли, потому что и в то время были очень пожилыми людьми. Иногда вместе с нами к нему приходил и Джим,

который сидел со всеми в большой фламандской кухне и курил, но как мало он был похож на прежнего Джима! Он всегда отличался суровостью, но теперь горе превратило его в камень, я никогда не видал улыбки на его лице, и он редко говорил со мной. Он думал только об одном — как отомстить де Лиссаку за то, что тот отнял у него Эди; он сидел по целым часам, опершись подбородком на руки, сверкая глазами и хмурясь, всецело занятый одной этой мыслью. Сначала это казалось солдатам потешным, и они насмехались над ним, но, узнав его покороче, поняли, что с ним шутки плохи, и оставили

свои насмешки.

Мы вставали очень рано, и как только начинала заниматься заря, были уже под ружьем. Однажды утром — это было 16 июня — мы только что выстроились, и генерал Адамс подъехал отдать какой-то приказ полковнику Рейнелу, они находились на расстоянии длины ружья от меня: и вдруг оба устремили взгляд на Брюссельскую дорогу. Никто из нас не смел пошевелить головой, но глаза всех солдат устремились в ту же сторону, и мы увидали, что по дороге со всей скоростью, на какую способна его серая в яблоках лошадь, скачет офицер с кокардой генеральского

адъютанта. Склонив голову над гривой, он хлестал ее по шее поводом, как будто от этого зависела его жизнь.

— Смотрите, Рейнел! — сказал генерал. — Похоже на то, что начинается дело. Что вы об этом думаете?

Оба они поскакали галопом вперед, и Адамс вскрыл поданный ему гонцом конверт, в котором лежала депеша. Конверт еще не успел упасть на землю, а он уже повернул лошадь и помчался обратно, махая письмом над головой, точно это была сабля.

— Разойдись! — кричал он. — Общий смотр и через полчаса



выступление в поход!

Вслед за этим началась страшная суматоха, все передавали друг другу новость. Накануне Наполеон перешел границу, оттеснил пруссаков, прошел довольно большое расстояние вглубь страны и теперь находился на востоке от нас со столятидесятитысячным войском. Мы бросились собирать вещи и завтракать, а через час выступили и навсегда оставили за собой Ат и Дендер. Нужно было спешить, потому что пруссаки не прислали Веллингтону никаких известий о том, что происходило, и хотя, как только до него дошел слух, он сразу выступил из Брюсселя, идти на

помощь пруссакам было уже поздно.

Было ясное теплое утро, бригада двигалась по широкой Бельгийской дороге, и пыль поднималась клубами кверху, как дым от батареи. Мы не раз благословили человека, который посадил тополя по обе стороны дороги, потому что их тень была для нас лучше питья. Справа и слева от нашей имелось еще две дороги, одна очень близко, а другая на расстоянии мили или больше. По ближайшей дороге двигалась пехотная колонна, и между нами происходило, так сказать, состязание в скорости. Колонна эта была окутана таким облаком пыли, что мы видели только стволы ружей и медвежьи шапки,

которые мелькали то там, то сям, а над этим облаком возвышались голова и плечи ехавшего верхом офицера и развевались знамена. Это была гвардейская бригада, но мы не знали, какая именно, потому что вместе с нами шли в поход две такие бригады. На дальней дороге также клубилась пыль, а сквозь нее мелькало по временам что-то блестящее, подобно множеству серебряных бус, нанизанных на нитку, и вместе с ветром до нас долетала необыкновенная музыка — грохот, бряцанье и звон металла. Сам я никогда не догадался бы, что это значит, но наши капралы и сержанты были опытные вояки, и один из них

со своей алебардой шел рядом со мной; это был человек, который мог все объяснить и дать совет.

— Это — тяжелая кавалерия, — сказал он. — Видишь две блестящих линии? Это значит, что они в шлемах и латах. Там идут «Королевские», они же «Эннискиленские». Слышишь их барабаны и литавры? Французская тяжелая кавалерия превосходит нас силами. У них десять человек против одного нашего, и все хорошие солдаты. Нужно будет стрелять им прямо в лицо или в лошадей. Помни об этом, когда их увидишь, а иначе четырехфутовая сабля проткнет тебе печень, и это послужит тебе

хорошим уроком. Чу! Что это, опять старая музыка?

Где-то на востоке от нас слышался грохот канонады; она звучала глухо и хрипло, подобно рычанию кровожадного зверя, который замышляет лишить людей жизни. В эту самую минуту слышался позади крик: «Эй! Эй! Эй!» — и кто-то прокричал громовым голосом: «Пропустите пушки!» Оглянувшись назад я увидел, что находившиеся в арьергарде роты вдруг раздались и скатились по обе стороны в ров, и шестерка лошадей буланой масти, запряженных попарно, с громом втащила в образовавшийся проход

двенадцатифунтовую пушку, которая со скрипом катилась за ними. За ней показалась другая пушка, затем еще, — всего их было двадцать четыре; они проследовали мимо нас с оглушительным шумом и стуком; солдаты в синих мундирах сидели на пушках и фургонах; возницы бранились; бичи свистели в воздухе, у лошадей развевались по ветру гривы, швабры и ведра бренчали, и воздух был наполнен грохотом и звоном цепей. Из рвов слышался какой-то рев, — артиллеристы громко кричали; и вот уже впереди нас катится какое-то серое яблоко, в котором мелькают десятка два касок. Мы опять сомкнули ряды. Между тем

грохот впереди нас еще усилился.

— Там три батареи, — объяснил сержант. — Батареи Буля и Уэббера Смита, а третья — новая. Пушки здесь проезжали прежде этих, потому что вот следы девятифунтовой, а все остальные — двенадцатифунтовые. Если хочешь попасть в цель, то стреляй из двенадцатифунтовой, потому что девятифунтовая сделает из человека кашу, а двенадцатифунтовая скосит его, как морковную ботву.

И затем он стал рассказывать об ужасных ранах, которые видел своими глазами, так что у меня застыла в жилах кровь; натри я тогда лицо пеплом из трубки, оно и то не

стало бы белее.

— Ничего, еще и не так побледнеешь, как попадет в брюхо целая пригоршня картечи, — сказал сержант.

Тут я увидел, что некоторые из старых солдат смеются, и понял, что этот человек хочет нас напугать, а потому и сам начал смеяться, только нельзя сказать, чтобы это был веселый смех.

Солнце было у нас почти над головами, когда мы остановились в маленьком местечке, которое называется Галь. Тут нашелся старый колодец с помпой, я накачал себе целый кивер воды, и она показалась мне вкуснее всякого шотландского



эля. Мимо нас опять проехали пушки и Вивианские гусары — три полка: это были ловкие молодцы на хороших лошадях каурой масти, так что на них было приятно смотреть.

Грохот пушек все нарастал, и мои нервы были потрясены точно так же, как когда я вместе с Эди наблюдал бой купеческого корабля с каперскими судами. Грохот сделался очень громким, и мне представлялось, что за ближним лесом идет сражение, но мой приятель сержант лучше меня знал, что к чему.

— Это от нас за двенадцать, а может быть, и за пятнадцать миль, — сказал он. — Генерал знает, что мы

не нужны. Это уж точно, иначе мы не сделали бы привала в Гале.

То, что он сказал, оказалось верным, потому что через минуту подъехал полковник с приказом поставить ружья в козлы и расположиться здесь биваком. Мы простояли целый день, мимо нас шли английская, голландская и ганноверская кавалерия, пехота и пушки. Адская музыка продолжалась весь день, ее звуки иногда возвышались до грома, а иногда понижались до рокота, и наконец около восьми вечера она совсем прекратилась. Вы можете себе представить, как нам хотелось узнать, что все это значило; однако

мы были уверены, что герцог все сделает к лучшему, и поэтому, вооружившись терпением, ожидали, что будет дальше.

На следующий день утром бригада оставалась в Гале, но около полудня приехал от герцога ординарец. Мы опять выступили и наконец дошли до маленькой деревушки, которая называлась вроде Брен. Тут мы остановились и сделали это вовремя, потому что вдруг разразилась гроза, и проливной дождь превратил все дороги и поля в болото. Мы укрылись от дождя в ригах, и тут нашли двух заплутавших солдат — одного из шотландского полка, носившего кильты, а другого

из немецкого полка; то, что они рассказывали, было так же ужасно, как и погода.

Накануне этого дня Бони совершенно разбил пруссаков, а наши товарищи поневоле должны были защищаться от Нея и наконец отбили его. Теперь вряд ли кому интересно про это слушать, но тогда мы стеной обступили этих двух солдат в риге, толкались и продирались вперед, чтобы поймать хоть слово из того, что они говорили, и к тем, которые слышали, приставали, в свою очередь, те, кому не повезло. Мы то смеялись, то радостно вопили, то стонали, внимая рассказу о том, как встретил 44-й

полк кавалерию, как обратились в бегство голландцы с бельгийцами, как уланы замкнули в свое каре императорских «Черных стражей» и затем перебили их всех поодиночке. Радостнее всего было слышать, что уланы смяли 69-й полк и взяли одно из знамен. В заключение мы узнали, что герцог отступает, чтобы соединиться с пруссаками и что будто он опять займет свою позицию и даст большое сражение на том самом месте, где мы остановились. Скоро мы убедились в том, что этот слух верен: к вечеру погода разгулялась, и мы все вышли на вершину холма посмотреть, что творится вокруг. Вокруг

простирались пастбища и ржаные поля, наполовину зеленые и наполовину пожелтевшие; рожь была по плечо человеку. Нельзя было представить себе более мирной сцены; везде, куда ни кинь взгляд, за низкими волнообразными холмами, покрытыми рожью, вздымались над тополями колокольни деревенских церквей. Но как раз посередине этой прекрасной картины длинной вереницей шли люди. Одни были в красном, другие в зеленом, те в синем, а эти — в черном. Они рассыпались по равнине и занимали все дороги; один конец колонны был так близко к нам, что мы могли бы покричать им, когда они приставили

свои ружья к склону холма, а другой конец, насколько мы могли видеть, терялся вдали в лесах. А на других дорогах мы видели запряженных цугом измученных лошадей, тусклый блеск пушек и солдат, из последних сил хлопотавших о том, чтобы колеса не увязли в глубокой грязи. Пока мы стояли, полк за полком, бригада за бригадой занимали позиции на поле, и солнце еще не зашло, а уже мы находились на линии, состоящей более чем из шестидесяти тысяч человек и преграждавшей Наполеону дорогу в Брюссель. Но полил дождь, и мы, солдаты 71-го полка, бросились опять в нашу ригу: нам повезло куда больше, чем

большинству наших товарищей,  
которые лежали в грязи, а над ними  
до самого рассвета бушевала гроза.



# Глава двенадцатая

## Тень на земле

На другой день утром все еще моросил дождь. По небу неслись темные облака, дул сырой холодный ветер. Открыв глаза, я с удивлением подумал, что ведь нынче должен буду участвовать в сражении; правда, никто из нас не представлял себе, что это сражение будет таким, каким оно оказалось на самом деле. Едва занялась заря, мы уже были на ногах и совершенно готовы: отворив ворота риги, мы услышали, что где-то вдали играет странная, но очень приятная музыка. Мы стояли группами,

прислушиваясь к ней. Это была красивая, не предвещавшая ничего грозного и грустного музыка. Но наш сержант, увидев, что она нам очень понравилась, засмеялся.

— Это французская полковая музыка, — объяснил он. — Выходите-ка из риги, авось увидите то, чего, может быть, некоторым никогда уж не придется увидеть.

Мы вышли на двор — музыка все еще отдавалась в наших ушах — и поднялись на холмик за ригой. Внизу у откоса стояла маленькая ферма с черепичной крышей, обнесенная изгородью и с прилегающим к ней яблоневым садом. Ее окружали солдаты в красных мундирах и

высоких меховых шапках, которые работали как пчелы: они пробивали отверстия в стене и укрепляли двери.

— Это легкие гвардейские роты, — сказал сержант. — Они будут удерживать эту ферму до тех пор, пока хоть один из них будет в состоянии пошевелить пальцем. А теперь посмотрите вон туда, и вы увидите огни во французском лагере.

Мы посмотрели и увидали за долиной на невысоком холме множество желтоватых огненных точек и черный дым, медленно поднимавшийся кверху в сыром воздухе. Там, по ту сторону долины, находилась другая ферма, и мы увидели, что около нее на небольшом

холме вдруг появилась группа верховых, которые пристально смотрели на нас. Позади было около дюжины гусар, а впереди пять человек. Трое из них в касках, один с длинным прямым красным пером на шляпе, а последний — в низенькой фуражке.

— Ну ей-Богу же! — воскликнул сержант. — Это они! Это Бони! Вон тот, на серой лошади. Да бьюсь об заклад на месячное жалованье, что это он!

Я напрягал зрение, чтобы увидеть человека, гигантская тень которого, покрывавшая всю Европу в продолжение двадцати пяти лет, упала также и на нашу захолустную

ферму и отвлекла нас — меня, Эди и Джима — от той жизни, которую вели до нас наши предки. Насколько я мог разглядеть, это был коренастый, широкоплечий человек, он держал бинокль у глаз, широко расставив локти. Я все еще пристально смотрел на него, когда услышал близко от себя чье-то дыхание. Это был Джим, глаза которого горели, как два угля.

— Это он, Джек, — прошептал он.

— Да, это Бони, — ответил я.

— Нет-нет, это *он*. Делапп, или де Лиссак, или как его там зовут, черт бы его побрал! Это он.

Тут я узнал его. Это был всадник

с красным пером на шляпе. Даже на таком расстоянии я мог бы поклясться, что узнал наклон его плеч и манеру держать голову. Я схватил Джима за рукав: я заметил, что в нем при виде этого человека закипела кровь и он готов был наделать Бог знает каких глупостей. В эту минуту Бонапарт, как казалось, наклонился к де Лиссаку и что-то сказал. Вся группа тронулась и исчезла из глаз. Вслед за тем послышался пушечный выстрел, и белый дым разостлался по склону холма. В ту же самую минуту в нашей деревне протрубили сбор, мы бросились разбирать оружие и занимать свои места. Был дан залп

по всей линии, и мы подумали, что началось сражение; на самом деле наши товарищи просто прочищали ружья, потому что заряд мог отсыреть за дождливую ночь.

Ради открывшегося нам зрелища стоило приехать сюда из-за моря. Наш холм был точно шахматная доска красного и синего цвета, простиравшаяся до самой деревни, что находилась от нас на расстоянии двух миль. Солдаты передавали один другому, что синих мундиров слишком много, а красных слишком мало, кроме того, бельгийцы накануне показали себя трусами, а наши британские полки состояли наполовину из ополченцев и

новобранцев, потому что лучшие полки, сражавшиеся на Пиринейском полуострове, еще плыли по океану на транспортных судах. Они возвращались после какой-то глупой ссоры, возникшей между нами и нашими родственниками-американцами. И все же мы видели медвежьи шкуры гвардейцев — их было две сильные бригады — и шапки горцев, а также синие мундиры старого немецкого полка, красные линии бригады Пака и бригады Кемпта, а впереди зеленые мундиры стрелков, — и мы знали: что бы ни случилось, эти люди останутся на том месте, на котором они будут поставлены, и у них есть



командир, который поставит их именно туда, где они должны стоять.

Французов видно не было, только мерцающие огоньки их лагеря, да еще несколько верховых мелькнули в долинах между холмами; но пока мы стояли, у них вдруг громко заиграла музыка, и вся их армия двинулась вниз по низенькому холму, закрывавшему ее от нас; бригада шла за бригадой, дивизия за дивизией, так что склон холма, во всю его длину и ширину, засинел от их мундиров и заблестел от их сверкающего оружия. Казалось, им не будет конца — они все выходили и выходили из-за холма, а наши солдаты стояли между тем

опершись на ружья, курили трубки, смотрели вниз на эту огромную армию и слушали, что рассказывали о французах сражавшиеся с ними прежде. Затем, когда пехота собралась в плотные колонны, за нею покатались по склону холма пушки; их снимали с передков и готовили к бою. Затем вниз по холму гордой рысью полетела кавалерия, по крайней мере тридцать полков, с перьями и в кирасах, со сверкающими саблями и колеблющимися пиками; они выстроились на флангах и в арьергарде длинными блестящими линиями.

— Вот они, эти молодцы! —

воскликнул наш старый сержант. — Они так и рвутся в бой, поверьте моему слову. Видите вон те полки в высоких киверах, немножко подальше фермы? Это гвардия. Их двадцать тысяч, дети мои, и все солдаты на подбор — люди, поседевшие в боях: они всю свою жизнь только и делали, что сражались, с самых тех пор как были ростом не выше моих сапог. У них три человека против наших двух и две пушки против нашей одной и, клянусь Богом, они заставят вас, новобранцев, пожалеть о том, зачем вы вообще покинули родной дом.

Наш сержант не умел ободрять и успокаивать, но так как он после

битвы при Корунне участвовал во всех сражениях и на груди у него висела медаль с семью пряжками, он имел право говорить так, как хотел.

Когда французы выстроились на расстоянии ближе пушечного выстрела, мы увидали небольшую группу всадников в красном, одежда которых блестела серебром и золотом: они проскакали между дивизиями, и когда они проезжали, с обеих сторон слышались громкие приветственные крики, солдаты отдавали им честь и махали руками. Через минуту после этого шум стих, и обе армии стали одна против другой, храня мертвое молчание. Это зрелище я и теперь часто вижу во

сне! Затем вдруг среди солдат, находившихся как раз против нас, произошло какое-то движение; от плотной синей массы отделилась небольшая колонна, которая пошла, уклоняясь то в ту, то в другую сторону, по направлению к ферме, находившейся прямо под нашими ногами. Колонна не сделала и пятидесяти шагов, как с английской батареи, находившейся влево от нас, грянула пушка, и началась битва при Ватерлоо.

Я не сумею описать вам битву, и, конечно, я находился бы далеко отсюда и не участвовал в ней, если бы наша судьба — судьба трех простолюдинов из шотландской

пограничной области — не имела бы для нее столько же значения, сколько и судьба какого-нибудь короля или императора. Сказать по правде, я узнал больше об этой битве из того, что прочел после, чем из того, что видел сам, потому что много ли мог я видеть, когда с каждой стороны от меня стоял товарищ, а на конце ружья было большое облако белого дыма. Только из книг и из рассказов других я узнал о том, как повела атаку тяжелая кавалерия, как она наткнулась на знаменитых кирасиров и была изрублена в куски. Из того же источника я узнал о следовавших одна за другой атаках, а также и о том, что бельгийцы обратились в

бегство, а Пак и Кемпт держались твердо. Но в этот долго тянувшийся день сквозь разредившийся дым и в промежутках между стрельбой я видел лишь немного, и вот об этом-то я хочу рассказать вам. Мы находились на правом фланге боевой линии и в резерве, потому что герцог боялся, что Бони обойдет его с этой стороны и нападет с тыла; потому наши три полка вместе с другой британской бригадой и ганноверцами были поставлены здесь, чтобы быть на всякий случай готовыми. Здесь были также и две бригады легкой кавалерии, но французская атака была направлена на фронт, так что мы потребовались

только вечером.

Английская батарея, сделавшая первый залп, продолжала стрелять влево от нас, немецкая батарея действовала непрерывно с правой стороны, так что мы были совсем закутаны дымом; но он не закрывал нас настолько, чтобы служить защитой от находящихся напротив нас французских пушек, потому что десятка два ядер упали на землю как раз посреди нас. Когда я услышал их свист около уха, я пригнул голову, как человек, собравшийся нырнуть в воду, но наш сержант толкнул меня в спину рукояткой алебарды.

— Не будь таким вежливым, — сказал он, — когда в тебя попадает



ядро, можешь один раз поклониться, и довольно.

Одно из этих ядер сбило с ног пятерых солдат и превратило их в кровавую массу; я видел его после того лежащим на земле — оно было похоже на мяч красного цвета. Другое попало в лошадь адъютанта, причем произвело такой звук, словно камень шлепнулся в грязь; оно переломило ей спину и пролетело дальше, а лошадь лежала на земле, похожая на лопнувшую ягоду крыжовника. Еще три ядра упали дальше направо, и по суматохе и крикам, какие поднялись там, можно было догадаться, что все они попали в цель.

— Джеймс, вы потеряли хорошую лошадь, — сказал майор Рид, стоявший как раз впереди меня, глядя с лошади на адъютанта, у которого все сапоги были в крови.

— Я заплатил за нее в Глазго пятьдесят фунтов стерлингов, — отвечал тот. — Как вы думаете, майор, не лучше ли солдатам лечь, раз до нас стали долетать ядра?

— Тьфу! — отвечал майор. — Они молодцы, Джеймс, это пойдет им только на пользу.

— Еще успеют наглядеться, прежде чем кончится сражение, — проворчал адъютант, в эту минуту стрелки и 52-й полк, находившиеся направо и налево от нас, двинулись

вниз по склону, а потому нам было приказано растянуть линию. Выстрелы визжали, точно голодные собаки, на расстоянии нескольких футов за нашими спинами. Почти каждую минуту слышались глухие удары, какое-то шлепанье, затем крики боли и топанье сапогами по земле: мы знали, что у нас большие потери.

Так как моросил мелкий дождик и дым стлался по земле, то только в те минуты, когда он немного рассеивался, мы могли видеть, что происходит впереди, хотя, судя по грохоту пушек, сражение шло уже по всем линиям. Теперь стреляли сразу из четырехсот пушек, и от грохота

могла лопнуть барабанная перепонка. У всех нас потом долго стоял в голове шум. Как раз напротив нас на склоне холма стояла французская пушка, и мы совершенно ясно видели, как из нее стреляли. Маленькие проворные люди в очень узких панталонах и высоких киверах с большими прямыми перьями работали, как овчары, которые стригут овец, — они приколачивали снаряд, банили пушку и стреляли. Когда я увидел их в первый раз, их было четырнадцать человек, а под конец их осталось только четверо, но они продолжали работать так же неустанно, как и прежде.

Внизу, под нами, находилась ферма, которая называлась Гугумон; и там все утро шел ожесточенный бой, потому что стены, окна и фруктовый сад были в пламени и в дыму, и оттуда доносились такие ужасные крики, каких мне никогда не приходилось слышать прежде. Ферма была наполовину сожжена и разрушена ядрами; десять тысяч человек ломились в ворота: около четырех тысяч гвардейцев защищали ее утром и две тысячи вечером, и ни один француз еще не переступил ее порог. Но как они дрались, эти французы! Жизнь была для них все равно что грязь под ногами. Там был один — я как будто и сейчас вижу его

перед собой — довольно полный человек с красным лицом, на костыле. Он подошел совершенно один, прихрамывая, к боковым воротам Гугумона, начал стучать в них и закричал своим солдатам, чтобы они шли за ним. Он пробыл тут пять минут, расхаживая взад и вперед перед наведенными на него дулами ружей, выстрелы из которых в него не попали, но наконец один брауншвейгский стрелок, находящийся в саду, прицелился из винтовки и прострелил ему голову. И это был только один из многих, потому что в продолжение всего дня, когда французы не наступали целыми массами, они подходили по

двое и по трое, и на лицах у них было написано такое мужество, как будто бы вслед за ними шла целая армия.

Мы пролежали так все утро, смотря сверху вниз на бой при Гугумоне; но герцог вскоре увидал, что справа бояться нечего, и потому нашел для нас другое употребление.

Французы выдвинули своих застрельщиков<sup>[11]</sup> дальше фермы, и они, засев в незрелой ржи, стреляли в канониров, так что прислуга трех из шести орудий, находившихся влево от нас, была вся перебита и лежала вокруг в грязи. Герцог видел решительно все и в эту минуту подъехал к нам. Это был смуглый, худой, но крепкого сложения человек

с блестящими глазами, носом с горбинкой и большой кокардой на треуголке.

За ним ехало человек двенадцать офицеров, и все они были так веселы, как будто бы охотились за лисицей: к вечеру из этих двенадцати человек не осталось в живых ни одного.

— Жаркое дело, Адамс, — сказал герцог, подъезжая к нам.

— Очень жаркое, ваша светлость, — отвечал наш генерал.

— Но, я думаю, мы сможем выдержать их натиск. Ведь не можем же мы допустить, чтобы их застрельщики заставили замолчать нашу батарею. Переведите этих



солдат на другое место, Адамс.

Только тут я узнал, какое необъяснимое чувство овладевает человеком, когда ему приказывают идти в бой. До сих пор мы просто лежали на земле и нас убивали, а это самое скучное дело в сражении. Теперь наступила наша очередь, и клянусь вам, мы были вполне готовы к этому. Мы, то есть вся бригада, сразу вскочили на ноги и, выстроившись в четыре ряда, бросились на засеянное рожью поле. Когда мы подходили, застрельщики дали по нам залп, а потом начали пробиваться сквозь рожь, точно перепела, — опустив головы, согнув спины и волоча за собой ружья.

Половина из них ушла от нас, но остальных мы догнали — сначала офицера, потому что он был очень полным человеком и не мог бежать быстро. У меня закружилась голова, когда я увидел, как Роб Стюарт вонзил свой штык в широкую спину француза, и тот завыл, точно грешник в аду. На этом поле никому не было пощады, и все они были перебиты. Наши солдаты рассвирепели, и неудивительно, потому что эти осы жалили нас все утро, а мы были не в состоянии даже толком их разглядеть.

Мы прошли до самого дальнего конца засеянного рожью поля и очутились перед дымовой завесой:

тут стояла на своей позиции вся французская армия, от которой нас отделяли только два луга и узкая проселочная дорога. Увидя французов, мы испустили крик и, дай нам волю, бросились бы в атаку, потому что глупые молодые солдаты часто рискуют головой без всякой пользы. Однако на сей раз рядом с нами ехал рысью на своей лошади герцог, и вот он что-то крикнул нашему генералу. Вслед за этим все офицеры подались вперед и своим оружием преградили нам дорогу. Заиграли сигнальные рожки, началась толкотня и давка, сержанты бранились и распихивали нас алебардами, и скорее, чем я успею

написать эти строки, вся бригада выстроилась в три небольших правильных каре с торчащими со всех сторон штыками, как это называется — эшелоном, так, чтобы каждое каре могло стрелять, не задевая другого.

Это было для нас спасением, что легко мог понять и я, хотя и был всего лишь мальчишкой-солдатом. На нашем правом фланге был низкий отлогий холм, и из-за него доносился звук, который можно сравнить разве что с шумом волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Вся земля содрогалась от этого глухого рокота.

— Смелее, 71-й полк, ради Бога

смелее! — кричал за нами голос нашего полковника, хотя перед нами не было ничего, кроме отлогого зеленого ската, покрытого травой и испещренного ромашкой и одуванчиками.

И вдруг из-за холма показались разом восемьсот медных касок с длинными хвостами из конских волос, развевающимися по воздуху, а затем восемьсот свирепых лиц, которые, сверкая глазами, смотрели на нас между ушами такого же числа лошадей. С минуты можно было видеть только блеск кирас, свистящие в воздухе сабли, развевающиеся гривы лошадей, их раздувающиеся красные ноздри и

слышать топот копыт; затем послышался ружейный залп, и наши пули застучали, ударяясь об их кирасы, точно град об оконные стекла. Я выстрелил вместе с остальными и затем как можно скорее забил новый заряд стараясь разглядеть сквозь дым, что происходит передо мной; но видел лишь что-то длинное и тонкое, медленнодвигающееся взад и вперед.

Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы разглядели, что случилось.

Я ждал, что половина кавалерийского полка лежит на

земле; но то ли французов спасли их кирасы, то ли мы, молодые солдаты, в суматохе выстрелили слишком высоко, только залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня; средняя лежала на спине, задрав кверху все четыре ноги; одна из этих ног и была тем непонятным предметом, который я видел сквозь дым. Около восьми или десяти человек были убиты и приблизительно столько же ранены: они еще не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l'Empereur!»<sup>[12]</sup> Другой солдат, раненный в бедро —

он был высокого роста и с черными усами, прислонился к своей убитой лошади и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы находился в тире, и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня через двух человек. Затем он протянул руку, чтобы поднять другую винтовку, лежавшую неподалеку, но тут громадный ростом Ход-сон, самый сильный солдат во всей гренадерской роте, выскочил вперед и всадил ему штык в шею.

Сначала я думал, что нам просто за дымом не видно, как кирасиры обратились в бегство; но они были не из таких. При нашем залпе их



лошади шарахнулись в сторону, и они попали под выстрелы двух других каре, находившихся за нами. Тогда они проскочили сквозь изгородь и, натолкнувшись на полк ганноверцев, выстроенный в линию, поступили с ними так, как поступили бы с нами, если бы мы не выказали такого проворства, — в одну минуту изрубили всех солдат в куски. Было ужасно смотреть, как долговязые немцы бегали и кричали, а кирасиры приподнимались на стременах, чтобы ловчее взмахнуть длинными тяжелыми саблями, которыми резали и кололи без милосердия. Вряд ли из всего полка осталось в живых хотя бы сто человек. После этого

французы вернулись и проскакали перед нашим фронтом; они кричали и махали саблями, которые были красны от крови до самой рукоятки. Это они делали для того, чтобы заставить нас стрелять, но полковник, опытный воин, удержал нас, потому что мы не могли принести им большого вреда на таком расстоянии, а они набросились бы на нас прежде, чем мы успели бы вторично зарядить ружья.

Эти верховые опять скрылись за холмом по правую руку от нас, а мы прекрасно понимали, что, если бы мы разомкнули каре, они моментально налетели бы на нас. С

другой стороны, было трудно оставаться в таком положении, потому что французы установили на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас батарею, состоящую из двенадцати пушек, и стали стрелять так, что ядра пролетали прямо в середину нашего каре, — это называется беглым огнем. А один из их артиллеристов вбежал по склону на вершину холма и на глазах у всей бригады воткнул в сырую землю кол, чтобы он служил им указанием, и ни один из солдат не выстрелил в него, — каждый надеялся, что это сделает другой. Прапорщик Симпсон, бывший самым младшим офицером в полку, выбежал из каре и

вытащил из земли кол; но стремительнее щуки, которая гонится за пескарем, на холм взлетел какой-то улан и нанес прапорщику сзади такой удар пикой, что не только ее острие, но и ствол прошли насквозь между второй и третьей пуговицами мундира. «Элен! Элен!» — воскликнул Симпсон и упал ничком на землю, между тем как улан, изрешеченный ружейными пулями, свалился с лошади около него, все еще держа в руках свое оружие: так они и лежали вместе — смерть соединила их страшными узами.

Когда батарея открыла огонь, у нас не осталось времени думать о постороннем. Каре хорошо для того,

чтобы встретить кавалерию, но это самый неудобный строй, когда летят пушечные ядра, в чем мы скоро убедились, когда они начали оставлять среди нас кровавые следы. Наконец нам надоело слышать это постоянное шлепанье, звук, который производит твердое железо, ударяясь о живое тело. Через десять минут мы переместились на сто шагов вправо; на том месте, на котором мы стояли, остались убитыми сто двадцать рядовых и семь офицеров. Но потом пушки снова отыскали нас, и мы попробовали выстроиться в линию, однако в ту же минуту кавалерия — теперь это были уланы — бросилась на нас в атаку по склону холма.

Надо сказать, что мы обрадовались, услышав топот лошадей: мы знали, что благодаря этому прекратится на некоторое время пушечный огонь, и это даст нам возможность отразить нападение. На этот раз мы отразили его с достаточной силой, потому что были хладнокровны, злы и свирепы; что до меня, я не обращал большого внимания на этих кавалеристов, словно это были овцы в Корримюре. На войне человек по прошествии некоторого времени перестает бояться за собственную шкуру. Чувствуешь, что непременно нужно заставить кого-то заплатить за то, что пришлось испытать самому. На этот

раз мы отплатили уланам, потому что у них не было кирас, которые могли бы защитить их, и семьдесят человек из их числа мы выбили залпом из седла. Может быть, это и не доставило бы нам такого удовольствия, если бы мы видели семьдесят матерей, плачущих о своих сыновьях; но в сражении люди делаются похожи на диких зверей и ни о чем не думают, точно так же, как два щейка-бульдога, схватившие один другого за горло.

Наш полковник распорядился очень умно: рассчитывая задержать кавалерию минут на пять, он выстроил нас в линию и прежде, чем начали стрелять пушки, отодвинул

нас дальше ко впадине холма, так чтобы в нас не могли попадать ядра. Благодаря этому мы смогли перевести дух, что было необходимо, потому что наш полк таял, точно сосулька на солнце. Но если нам приходилось плохо, то другим было еще хуже. Среди бельгийцев, которых насчитывалось пятнадцать тысяч, царило полное замешательство, да и в нашей линии образовались большие промежутки, через которые свободно двигалась французская кавалерия. Кроме того, у французов было больше пушек, и они были гораздо лучше наших, а наша тяжелая кавалерия была изрублена в куски, так что дело нас не радовало. С



другой стороны, Гугумон, эта  
облагренная кровью развалина, был  
еще в наших руках, — там все  
британские полки держались крепко;  
хотя, если уж говорить правду — а  
это должен делать всякий человек, —  
кое-где среди синих мундиров видны  
были красные, которые подвигались  
к задним рядам; но это были  
молодые солдаты и отставшие —  
трусы, какие попадаютсЯ во всякой  
армии; я опять повторяю, что  
полностью не отступил ни один  
полк. Сами мы видели очень мало из  
того, что происходит; но надо было  
быть слепым, чтобы не заметить, что  
за нами все поля покрыты  
обратившимися в бегство солдатами.

Когда начали показываться пруссаки — хотя мы, находясь на правом фланге, ничего не знали об этом, — Наполеон выставил против них двадцать тысяч своих солдат, которые бросились на них, и те отступили, так что мы остались опять одни. Обо всем этом мы ничего не знали; одно время французская кавалерия находилась между нами и остальной армией, и мы уж подумали, что только одна наша бригада и уцелела, а потому твердо решили продать свою жизнь как можно дороже. Был уже пятый час пополудни; почти у всех нас со вчерашнего вечера не было куска во рту, и, кроме того, дождь промочил

нас насквозь. Он моросил целый день, но в последние часы нам некогда было думать ни о погоде, ни о голоде. И вот мы начали озираться, подтягивая пояса и спрашивая себя, кто ранен, а кто уцелел. Я рад был увидеть Джима: его лицо совсем почернело от пороха, он стоял справа от меня, опершись на свое ружье. Он увидел, что я смотрю на него, и крикнул, не ранен ли я.

— Нет, не ранен, Джим, — ответил я.

— Кажется, я пустился в безумное предприятие, — сказал он с мрачным видом, — но дело еще не кончено. Клянусь Богом, или я его убью, или он меня.

Бедный Джим день и ночь думал о своей обиде и, сказать по правде, видимо, слегка тронулся умом, потому что в глазах у него был какой-то особенный блеск, какого я никогда не видал раньше. Он всегда принимал к сердцу всякие пустяки, и я был уверен, что с тех пор, как его бросила Эди, он не вполне владел собой.

В это время мы увидели два поединка, которые, как мне рассказывали, довольно часто происходили в сражениях в старые годы, прежде чем солдат приучили драться массами. На возвышении перед нами проскакали, пришпоривая лошадей, два всадника;

они мчались во весь опор. Первый из них был английский драгун; он летел вперед, склонив лицо к самой лошадиной гриве; за ним гнался французский кирасир, старый седой солдат на огромной черной лошади, которая громко стучала копытами. Завидев их, наши солдаты подняли насмешливый крик: нам было стыдно, что англичанин удирает от француза, но, когда они пролетели перед нашим фронтом, мы поняли, в чем дело. Драгун уронил саблю и был совершенно безоружным, враг совсем настигал его, а добыть новое оружие ему было негде. Наконец, может быть, задетый за живое нашими насмешками, он решился

добыть его во что бы то ни стало. Увидев, что около одного убитого француза лежит пика, он резко поворотил лошадь в сторону, пропустил своего врага вперед и затем, ловко спрыгнув с седла, схватил пику. Но и другой был тоже не промах и налетел на него с быстротой молнии. Драгун бросился на француза с пикой, но тот отразил удар и саблей разрубил противнику плечо. Все это произошло в одну минуту, и француз рысью помчался вверх по холму; обернувшись к нам, он оскалил зубы, точно огрызающаяся собака.

В первом поединке победа была на стороне французов, но в

следующем отличились мы. Они выдвинули вперед линию стрелков, огонь которых был направлен не против нас, а против находившихся справа и слева от нас батарей; мы выслали две роты 95-го полка, чтобы остановить их. С обеих сторон слышался страшный треск, потому что и те, и другие стреляли из ружей. В числе французских стрелков был один офицер — высокий и худощавый, в плаще, накинутом на плечи; когда наши солдаты выступили вперед, он выбежал из строя и стал между двумя сторонами в позе фехтовальщика — с поднятой кверху саблей и откинутой назад головой. Я как сейчас вижу его,

стоящего с опущенными ресницами и насмешливой улыбкой на лице. Увидя это, младший офицер наших стрелков — молодой человек красивый собой и высокого роста, выбежал вперед и стремительно бросился на него с одной из тех странных кривых сабель, какие бывают у стрелков. Они столкнулись точно два барана — оба побежали друг другу навстречу, — оба упали от толчка, но француз оказался внизу и не мог подняться. Наш офицер сломал об него свою саблю, но клинок сабли его врага прошел сквозь его левую руку; так как он был сильнее своего противника, ему удалось добить того зубчатым



обломком клинка. Я так и думал, что после этого его прикончат французские стрелки, но ни один из них не спустил курка, и он вернулся к своей роте: одна сабля прошла сквозь его левую руку, а в правой он держал обломок другой.

# Глава тринадцатая

## Исход битвы

Когда я вспоминаю об этом сражении, всего страшнее мне кажется то, что на всех моих товарищей оно произвело различное действие: некоторые вели себя так, будто сидели у себя дома за обедом, происходящее не вызывало у них ни любопытства, ни удивления; другие с первого пушечного выстрела до последнего бормотали молитвы, третьи так бранились, что мороз продирает по коже. Или вот еще: слева от меня стоял Майк Тредингем, так он надоедал всем рассказами о

своей незамужней тетушке Саре — о том, что она завещала деньги, которые хотела оставить ему, на приют для детей погибших матросов. Он Бог знает сколько раз рассказывал мне эту историю, но, когда кончилось сражение, стал клясться, что во весь день не промолвил ни слова. Что касается меня, я не могу точно сказать, говорил я или нет, но помню, что мой ум и память были яснее, чем когда-либо, и я все время думал о стариках, о доме, о кухне Эди с ее лукавыми глазками, о де Лиссаке с его кошачьими усами, обо всем том, что произошло в Вест-Инче и благодаря чему мы очутились на равнинах Бельгии и служили

мишенью для двухсот пятидесяти пушек.

Грохот пушек был ужасным, но вдруг они разом смолкли, как во время грозы замолкает на минуту гром, чтобы потом загрохотать с новой силой. Был еще слышен сильный шум на одном из отдаленных флангов, где подвигались вперед пруссаки, но это было за две мили от нас. Остальные батареи, как французские, так и английские, молчали, и дым рассеялся настолько, что обе армии смогли наконец увидеть одна другую. Возвышенность, на которой мы стояли, представляла собой ужасное зрелище, потому что на том месте,

где прежде находилось немецкое войско, лишь маячили там и сям отдельные кучки солдат в красных мундирах и линии в зеленых мундирах, между тем как массы французов казались такими же плотными, как и прежде, хотя, конечно, мы знали, что они потеряли не одну тысячу в атаках. Мы слышали их громкие веселые крики; затем все их батареи сразу загрохотали так, что в сравнении с этим грохот выстрелов в начале сражения казался тихим шорохом. Теперь батареи подвинулись вдвое ближе, в упор, а спереди и сзади их защищали огромные массы кавалерии.

Когда раздался этот адский

грохот, каждый солдат, до последнего мальчишки-барабанщика, сразу же понял, что это значит — Наполеон предпринимал последнее усилие уничтожить нас.

До темноты оставалось два часа, и теперь все зависело от того, сумеем ли мы продержаться до этого времени. Умирая от голода и усталости, изнемогая, мы просили Бога дать нам сил заряжать ружья, колоть врага, стрелять в него и биться до тех пор, пока хоть один из нас останется в живых. Пушечные выстрелы Наполеона не принесли нам большого вреда, потому что мы лежали ничком: мы готовы были выставить целый лес штыков, если

бы на нас опять напала кавалерия. Но вот среди грома пушек слышались более резкие звуки — топот, стук, свист рассекаемого воздуха.

— Они идут в атаку! — закричал какой-то офицер. — И на этот раз будут атаковать по-настоящему.

В тот миг какой-то француз, в мундире гусарского офицера, подскакал к нам галопом на маленькой лошадке. Он кричал что есть духу: «Vive le roi! Vive le roi!»<sup>[13]</sup> — это означало, что он был дезертиром, так как мы были на стороне короля, а он — на стороне императора. Проезжая мимо нас, он крикнул по-английски: «Гвардия

идет! Гвардия идет!» — а потом исчез за арьергардом подобно древесному листу, гонимому бурей. В ту же самую минуту к нам прискакал адъютант: лицо его побагровело от напряжения.

— Задержите их, иначе мы погибли! — закричал он генералу Адамсу, так что услышала вся наша рота.

— Как дела? — спросил генерал.

— Из шести тяжелых полков остались только два слабых эскадрона, — отвечал он и вдруг начал смеяться, как человек, у которого расходились нервы.

— Может быть, вы пожелаете



соединиться с нашим авангардом? Пожалуйста, считайте себя одним из наших, — сказал генерал с поклоном и улыбкой, как будто приглашая на чашку чая.

— Почту за честь, — отвечал тот, снимая с головы шляпу; через минуту после этого все наши три полка соединились, и бригада, построившись в каре, выдвинулась из впадины, где мы лежали, по направлению к французскому авангарду.

Теперь его почти совсем не было видно; можно было видеть только красное пламя, которое изрыгали пушки, облака дыма и черные фигуры, которые суетились, чистили

пушки швабрами, банили их — работали, точно черти в аду. Но за облаком дыма становились все слышнее и слышнее стук и свист рассекаемого воздуха, смешанные с громкими криками и топотом многих тысяч ног. Затем в дыму показалась большая черная масса: поначалу нельзя было разобрать, что это такое; наконец мы разглядели, что это сто человек, идущих в ряд, в высоких меховых шапках с блестящими бляхами надо лбом. За этой сотней шла еще сотня, за ней следующая и так далее; эта огромная колонна медленно выплывала из дыма, стоящего в воздухе от пушечных выстрелов, и казалось, что

ей не будет конца. Впереди шла цепь застрельщиков, за ними барабанщики: все они шли как-то подпрыгивая; по бокам подвигались плотной толпой офицеры, они размахивали саблями и весело кричали. Впереди ехало двенадцать верховых; они кричали хором и один из них поднял свою шляпу на острие сабли. Я опять повторяю, что никогда и нигде солдаты не сражались так храбро, как французы в этот день.

Их мужеству оставалось только дивиться: они так далеко ушли от своих собственных пушек, что те не могли подать им помощи, и очутились перед двумя батареями, которые стояли целый день справа и

слева от нас, и мы видели, как длинные красные линии пробегали по черной колонне по мере того, как она подвигалась вперед. Они были так близко к нашим пушкам и шли такими сомкнутыми рядами, что всякий выстрел пробивал насквозь их десять рядов, но, несмотря на это, ряды снова смыкались, и они продолжали свой путь с такой отвагой, что на них было любо-дорого смотреть. Голова их колонны двигалась прямо на нас, а на флангах у них находились 95-й и 52-й полки.

Я до сих пор уверен, что, если бы мы помедлили, гвардия разбила бы нас в пух и прах, потому что как могла состоящая из четырех рядов

линия устоять против такой колонны? Но тут Колберн, полковник 52-го полка, развернул свой правый фланг так, чтобы выставить его против одной стороны колонны, и это заставило французов остановиться. В эту минуту линия их фронта находилась на расстоянии сорока шагов от нас, и мы могли хорошо разглядеть французов. Мне сделалось смешно, когда я вспомнил, что прежде считал французов низкорослой нацией, потому что в первой роте не оказалось ни одного солдата, который не мог бы поднять меня с земли, как ребенка, а из-за высоких шапок они казались еще выше. Это были суровые солдаты с

крепкими мускулами,  
морщинистыми лицами,  
нахмуренными бровями, что  
придавало им свирепое выражение, и  
с торчащими, как щетина, усами. Я  
стоял, положив палец на курок и  
дожидаясь команды стрелять; взгляд  
мой упал случайно на офицера,  
который ехал верхом, держа шляпу на  
сабле, и я увидел, что это де Лиссак.

Не один я узнал его; его увидел и  
Джим. Он вскрикнул и вне себя  
бросился на французскую колонну;  
вслед за ним бросилась и вся  
бригада: как офицеры, так и солдаты  
атаковали гвардейцев с фронта, а  
наши товарищи напали на них с  
флангов. Мы ждали приказа, а теперь

все подумали, что он был уже дан; но я-то знал, что на самом деле в атаку на старую гвардию нас повел Джим Хорскрофт.

Трудно описать, что произошло в эти безумные пять минут. Я помню, что приставил ружье к какому-то синему мундиру и спустил курок, но противник мой не мог упасть, потому что его поддерживала толпа; затем я увидел ужасное пятно на сукне, которое потом задымилось, будто бы загорелось, после этого меня толкнули прямо к двум огромного роста французам и так стиснули всех нас троих, что мы не могли поднять оружия. Один из них, с очень большим носом, высвободил

свою руку и схватил меня за горло; тут я почувствовал себя перед ним не больше, чем цыпленком. «Rendez-vous, coquin, rendez-vous!»<sup>[14]</sup> — рывкнул он, но тут же с воплем опустил руку, потому что кто-то всадил ему штык в живот. В первые минуты этого столкновения почти не было слышно выстрелов, слышались только удары ружейных прикладов, крики раненых и громкие команды офицеров. Затем вдруг французы начали отступать. Ах! За все, что мы пережили, нас вознаградил восторг, который овладел нами в этот момент. Передо мной стоял француз с острыми чертами лица и черными глазами, который заряжал ружье и



стрелял из него так спокойно, как будто бы был на учении; прицеливаясь, он осматривался, чтобы выбрать офицера. Я помню, что подумал: если я убью такого хладнокровного солдата, то окажу нашим большую услугу, и вот я бросился на него и всадил в него штык. Когда я колол его, он повернулся и выстрелил прямо мне в лицо, и от пули у меня на щеке навсегда остался рубец. Я насел на него, когда он упал, а на меня навалились двое других, так что я чуть не задохся в этой куче. Когда наконец я высвободился и протер себе глаза, которые были засыпаны порохом, я увидел, что колонна

рассыпалась на группы, которые либо обратились в бегство, либо бьются грудь с грудью, делая тщетные попытки остановить бригаду, которая все продвигалась вперед. Я испытывал такое ощущение, будто к моему лицу приложили раскаленное докрасна железо; но при этом я владел руками и ногами, и, перепрыгивая через лежащих на земле убитых и изувеченных солдат, я пустился догонять свой полк и присоединился к нему на правом фланге.

Тут был старый майор Элиот. Он шел пешком, прихрамывая: под ним была убита лошадь, но сам он не пострадал.

Завидев меня, он кивнул головой, но поговорить нам было некогда. Бригада все двигалась вперед, генерал ехал передо мной, оглядываясь через плечо на британскую позицию.

— Общего наступления нет, — сказал он, — но я не отступлю.

— Герцог Веллингтон одержал большую победу, — закричал торжествующим тоном адъютант и затем, не сдержавшись, прибавил: — Если б только этот дурак захотел идти вперед!

Услышав эти слова, все мы рассмеялись.

Теперь уже было ясно, что ряды французской армии расстроены.

Колонны и эскадроны, которые стояли целый день плотными массами, превратились в нестройную толпу, на месте цепи застрельщиков во фронте было теперь немного отставших в арьергарде. Ряды гвардии редели перед нами по мере того, как мы подвигались вперед: мы увидали двенадцать пушек, направленных прямо против нас, но мы бросились на них и разом их смяли. В эту минуту мы услышали за собой громкие радостные крики и увидали, что вся британская армия спускается с вершины холма, наступая на остатки неприятельской армии. С шумом и стуком подвигались пушки; наша легкая

кавалерия — вся, сколько ее ни осталось, — пошла вместе с нашей бригадой на правом фланге. На этом сражение практически закончилось. Наша армия шла вперед без всякой задержки и наконец заняла ту самую позицию, на которой утром стояли французы. Мы взяли их пушки, их пехота была рассеяна по всей равнине, и одна только их храбрая кавалерия сохранила некоторый порядок и отходила с поля боя стройными рядами. Наконец, когда начала уже надвигаться ночь, наши измученные и умирающие от голода солдаты передали дело преследования пруссакам, а сами сложили свое оружие на отвоеванной

земле. Вот все, что я видел во время битвы при Ватерлоо и что могу рассказать вам о ней.

Прибавлю только, что в этот день вечером я получил на ужин два фунта ржаного хлеба с хорошей порцией солонины и, кроме того, большой кувшин красного вина, так что мне пришлось проделать новую дырочку в поясе, да и после этого он был натянут, как обруч на бочонке. Потом я лег на солому, где растянулись и остальные солдаты нашей роты, и сейчас же заснул мертвым сном.

# **Глава четырнадцатая Счет убитых**

Уже рассвело, и первые слабые лучи света стали прокрадываться сквозь длинные узкие щели в стенах риги, где мы ночевали, когда кто-то сильно потряс меня за плечо, и я вскочил на ноги. Мне представилось спросонья, что на нас напали кирасиры, и я схватился за алебарду, которую оставил прислоненной к стене; но, увидев длинные ряды спящих, я вспомнил, где нахожусь. Тем не менее я очень удивился,

поняв, что меня разбудил не кто иной, как сам майор Элиот. У него был очень серьезный вид, а за ним стояли два сержанта, которые держали в руках длинные полоски бумаги и карандаши.

— Вставай, паренек, — сказал майор в своей прежней непринужденной манере, точно мы были дома в Корримюре.

— Что вам угодно, майор? — пробормотал я.

— Я хочу, чтобы ты пошел вместе со мной. Я сознаю, что на мне лежит известного рода ответственность по отношению к вам двоим, потому что это я увел вас из родительского дома. Джим



Хорскрофт пропал.

Услыхав эти слова, я вздрогнул, потому что, мучимый голодом и изнемогая от усталости, я ни разу не вспомнил о своем приятеле с самых тех пор, как он бросился на французскую гвардию, а за ним последовал весь полк.

— Я иду на поле считать убитых, — сказал майор, — и если хочешь пойти со мной, я буду очень рад.

Итак, мы отправились — майор, два сержанта и я; какое это было ужасное зрелище! — до такой степени ужасное, что даже теперь, через столько лет, я не хотел бы распространяться о нем. На все это

было страшно смотреть в пылу битвы; но теперь в это холодное утро, когда не слышно было ни криков «ура», ни барабанного боя, ни сигнального рожка, зрелище это предстало перед нами во всем своем ужасе. Поле походило на огромную лавку мясника: несчастные солдаты были распотрошены, разрублены на куски и раздроблены, как будто бы мы хотели насмеяться над образом и подобием Божиим. Здесь можно было видеть все стадии вчерашней битвы — убитых пехотинцев, которые лежали четырехугольниками, а вокруг них убитых кавалеристов, которые напали на них, а наверху, на склоне

холма, лежали артиллеристы около своего искалеченного орудия. Гвардейская колонна оставила после себя тянущуюся по всему полю полосу, похожую на след улитки, и во главе ее синие мундиры лежали кучей на красных, — этот ужасный красный ковер расстелили еще прежде, чем французы начали отступать.

Когда я дошел до этого места, первое, что бросилось мне в глаза, был Джим. Он лежал, вытянувшись на спине, с лицом, обращенным к небу, и казалось, от него отошли все земные страсти и печали, и он снова стал похож на прежнего Джима, такого, каким я много раз видел его

спящим в школьные дни. Увидав его, я вскрикнул от горя; но потом, снова посмотрев ему в лицо, я прочел на нем радость, какой уже не надеялся увидеть при жизни, и тогда понял, что о нем не следует плакать. Его грудь была проколота двумя французскими штыками, он умер моментально, без страданий, судя по той улыбке, которая застыла на его лице.

Мы с майором приподняли его голову в надежде, что, может быть, он еще жив, и тут я вдруг услышал около себя хорошо знакомый голос. Это говорил де Лиссак: он сидел, опершись локтем на убитого гвардейца, закутанный в большой

синий плащ, а рядом лежала на земле его шляпа с большим красным пером. Он был очень бледен, глаза ввалились, но за исключением этого он остался все таким же, как и прежде, — со своим острым тонким носом, торчащими усами, коротко стриженной головой, на маковке которой просвечивала плешь. Его веки были полузакрыты, так что из-под них почти не было видно блестящих глаз.

— Эй, Джек! — закричал он. — Я никак не думал, что встречу вас здесь, хотя я мог бы об этом догадаться, когда увидал вашего друга Джима.

— Это вы стали причиной

нашего несчастья, — сказал я.

— Та, та, та! — воскликнул он, выражая этим, как и прежде, свое нетерпение. — Что предназначено каждому из нас, то и должно случиться. В Испании я научился верить в судьбу. Это судьба послала вас сюда сегодня утром.

— У вас на совести кровь этого человека, — сказал я, положив руку на плечо убитого Джима.

— А моя кровь на его совести. Значит, мы с ним квиты.

Говоря это, он распахнул плащ, и я с ужасом увидел у него на боку большой черный сгусток крови.

— Это моя тринадцатая и последняя рана, — сказал он с

улыбкой. — Не дадите ли вы мне напиться из вашей фляги?

У майора была разбавленная водой водка. Де Лиссак выпил с жадностью. Его глаза оживились, а на бледных щеках показался легкий румянец.

— Это дело Джима, — сказал он. — Я услышал, что кто-то зовет меня по имени, а это он приставил свое ружье к моему мундиру. Но, пока он стрелял, двое моих солдат прикололи его. Да, конечно, Эди стоит этого! Раньше чем через месяц вы будете в Париже, Джек, и вы увидите ее. Вы найдете ее в доме номер 11 по улице Миромениль, около церкви святой Магдалины.

Передайте ей это известие поосторожнее, Джек, потому что вы не можете себе представить, как она любила меня. Скажите ей, что все мое имущество находится в двух черных сундуках и что ключ от них у Антуана. Не забудете?

— Буду помнить.

— А что ваша маменька? Я надеюсь, вы ее оставили в добром здравии? А ваш папенька? Пожалуйста, засвидетельствуйте им мое почтение.

Даже и теперь, будучи так близок к смерти, он поклонился и помахал рукой, посылая привет моей матери.

— Наверно, — сказал я, — ваша



рана не так опасна, как вы думаете. Я могу привести к вам нашего полкового доктора.

— Дорогой мой Джек, в продолжение последних пятнадцати лет я сам наносил раны и меня ранили. Как же мне не знать, какая рана опасна? Но это и лучше, потому что я знаю, что для меня все кончено, и лучше уж умереть с моими гвардейцами, чем жить в изгнании и быть нищим. Кроме того, союзники, наверно, расстреляли бы меня, а таким образом я избегну этого позора.

— Союзники, сэр, — сказал майор с некоторой досадой, — не совершили бы подобного варварского

поступка.

Но де Лиссак покачал головой с той же самой грустной улыбкой.

— Откуда вам знать, майор? — сказал он. — Неужели же вы думаете, что я бежал бы в Шотландию под чужим именем, если бы мне не угрожала большая опасность, чем моим оставшимся в Париже товарищам? Я хотел жить, потому что был уверен, что мой маленький человечек вернется назад. Теперь же мне лучше умереть, потому что он уже никогда не поведет за собой армии. Но я вершил дела, которые долго не забудутся. Это я стоял во главе отряда, который взял в плен и расстрелял герцога

Энгиенского. Это я... Ah, mon Dieu!  
Edie, Edie, ma chérie![\[15\]](#)

Он протянул вперед обе руки, пальцы его дрожали. Затем руки тяжело опустились, подбородок упал на грудь. Один из наших сержантов бережно положил его на землю, а другой покрыл его большим синим плащом; так мы и оставили этих двоих, которых так странно соединила судьба, — шотландца и француза; они лежали молча и спокойно, совсем близко один от другого, на пропитанном кровью склоне холма неподалеку от Гугумона.

# Глава пятнадцатая

## Конец моего рассказа

Я подошел к самому концу моего рассказа и очень рад этому, потому что начал я писать с легким сердцем, полагая, что это займет меня в длинные, летние вечера, но по мере того, как я подвигался вперед, в моей душе вновь пробудилось много затихшего горя и ожили в памяти наполовину забытые огорчения, хотя душа моя и загрубела, как кожа дурно остриженной овцы. Если доведу свой рассказ до конца, то дам клятву никогда не брать пера в руки, потому что сначала это дело кажется легким,

а потом получается, как если идешь вброд по реке с неровным дном, и, прежде чем успеешь оглянуться, нога соскользнет в яму, из которой приходится выбираться с большим трудом.

Мы похоронили Джима и де Лиссака в одной общей могиле с четырьмястами тридцатью одним солдатом из французской гвардии и легкой инфантерии. Ах! Если бы только можно было сеять храбрых людей так, как сеют семена, то наступило бы время, когда мы собрали бы урожай героев! Затем мы оставили далеко за собой это кровавое поле и вместе с нашей бригадой перешли французскую

границу, направляясь к Парижу. В течение предшествовавших этим событиям лет я привык считать французов очень дурными людьми, так как мы слышали о них только то, что они убивают не задумываясь, и мы, понятно, полагали, что они злы от природы и что с ними страшно встречаться. Но ведь и они слышали о нас то же самое, а потому, разумеется, составили себе точно такое же мнение. Но когда мы проходили по их деревням и видели уютные домики, кротких, мирных людей, которые работали в полях, женщин, сидевших у большой дороги с вязанием в руках, старую бабушку в огромном белом чепце, которая

шлепала маленького ребенка, чтобы научить его вести себя прилично, — все это так напоминало мне о доме, что я не мог понять, почему мы так долго ненавидели этих добрых людей. Но я полагаю, что на самом деле мы ненавидели не их, а того человека, который ими правил. И теперь, когда он удалился и его гигантская тень уже не покрывала землю, ее снова освещало солнце.

Мы благополучно продвигались вперед. Местность была очень красивая, какой мне еще не доводилось видеть; наконец мы подошли к большому городу, причем нам пришло в голову, что, возможно, снова придется биться, потому что в

нем жило так много людей, что выйди из двадцати человек только один, и то из них составила бы прекрасная армия. Но они уже поняли, что не стоит разрушать целую страну ради одного человека, и сказали ему, что теперь он сам должен заботиться о себе. Затем мы услышали, что он сдался англичанам и что для нас отворены ворота Парижа: я обрадовался этому известию, потому что с меня было довольно и одного сражения.

Но в Париже еще многие любили Бони, и это было вполне понятно, потому что он доставил им славу, а кроме того, никогда не заставлял свою армию идти туда,



куда не пошел бы сам. Они смотрели на нас сурово, когда мы вошли в город, а мы — солдаты бригады Адамса, — вступили в него прежде других. Мы прошли по мосту, который называется у них Нельи — это слово легче написать, чем выговорить, пошли прекрасным парком Bois de Boulogne<sup>[16]</sup> и дошли до Елисейских Полей. Здесь мы расположились биваком, и вскоре на улицах города появилось так много пруссаков и англичан, что он стал скорее похож на лагерь, чем на город.

Получив увольнительную, я вместе с Робом Стюартом, моим товарищем по роте — нам позволяли ходить по городу только вдвоем, —

отправился на улицу Миромениль. Роб остался ждать в швейцарской, а меня повели наверх, и едва я поставил ногу на лежащий у двери ковер, как передо мной появилась кузина Эди, все такая же, как и прежде, и пристально посмотрела на меня своими странными глазами. В первую минуту она не узнала меня, но потом, сделав три шага вперед, бросилась ко мне и обвила руками мою шею.

— Старый друг Джек! — воскликнула она. — Как вы красивы в красном мундире!

— Да, я теперь солдат, Эди, — сказал я очень сухо, потому что, когда я смотрел на ее прекрасное

лицо, мне казалось, что я вижу за ним другое лицо, которое смотрело на небо в то утро в Бельгии, на поле сражения.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнула она — Кто же вы теперь, Джек? Генерал? Капитан?

— Нет, я рядовой.

— Как! Неужели один из тех солдат, которые стреляют из ружей?

— Да, у меня есть ружье.

— О, это совсем неинтересно, — сказала она и пошла назад к дивану, с которого встала.

Это была чудесная комната — везде шелк и бархат, и все блестело, мне так и хотелось пойти назад и хорошенько обтереть свои сапоги.

Когда Эди опять села, я разглядел, что она вся в черном, и тут я понял, что она слышала о смерти де Лиссака.

— Я очень рад, что вам все известно, — сказал я, — потому что я совсем не умею передавать таких известий. Он сказал, чтобы вы взяли все, что находится в сундуках и что ключи от них у Антуана.

— Благодарю вас, Джек, благодарю вас, — отвечала она. — Вы были так добры, что взяли на себя это поручение. Я узнала обо всем неделю назад. Некоторое время я была совсем безумная, совсем безумная. Я буду носить траур всю жизнь, хотя вы видите, что я в нем

настоящее пугало. Ах! Я не перенесу этого. Я пойду в монашенки и умру в монастыре.

— Позвольте доложить, сударыня, — сказала горничная, заглядывая в комнату, — вас желает видеть граф де Бетон.

— Дорогой Джек, — проговорила Эди, вскакивая с дивана, — он пришел по очень важному делу. Я страшно жалею, что нам не удалось поговорить, но я уверена, что вы опять навестите меня, когда я немножко поуспокоюсь? Ведь вам все равно выйти черным входом или парадным? Благодарю вас, дорогой Джек; вы всегда были хорошим

мальчиком и теперь аккуратно исполнили то, о чем вас просили.

Больше мне никогда не довелось видеть кузину Эди. Она стояла, облитая солнечным светом; в ее глазах было по-прежнему что-то вызывающее, зубы блестели; такой я буду помнить ее всегда — блестящей и непостоянной, подобно капельке ртути. Присоединившись внизу на улице к Робу, я увидел великолепную карету, запряженную парой лошадей, и тут я понял, почему Эди просила меня уйти незаметно: она хотела скрыть от своих новых знатных знакомых, что в детстве у нее были друзья из простонародья. Она даже

не спросила ни о Джиме, ни о моих родителях, которые были так добры к ней. Но такой уж был у нее характер; она не могла поступить иначе, все равно как кролик не может не шевелить своим коротеньким хвостом, и все-таки мне тяжело вспомнить об этом. Через два месяца я услышал, что она вышла замуж за этого самого графа де Бетона, а через год или через два умерла от родов.

Что же касается нас, то наше дело было сделано, потому что огромная тень уже не покрывала Европу, не лежала на землях, на мирных фермах и деревушках и не омрачала жизнь людей, которые без этого могли бы жить счастливо. Я

вышел в отставку и вернулся в Корримюр, где после смерти отца стал заниматься разведением овец, женился на Люси Дин из Бервика и воспитал семерых детей, которые давно уже переросли отца и всегда стараются напомнить мне об этом. Теперь, когда дни идут тихо и мирно и все они похожи один на другой, как шотландские бараны, молодые люди не хотят верить, что были времена, когда мы с Джимом ухаживали здесь за одной и той же девушкой, а из-за моря явился человек с торчащими, словно у кошки, усами.

**УДК 821.111–312.4**

**ББК 84(4Вел)-44**

**Д62**



**Конан-Дойль, Артур.**

Тень Бонапарта / А. Конан-Дойль; [Пер. с англ. М.Б. Антоновой, П.А. Гелевы] — М.: Гелеос, 2007. — 384 с.

ISBN 5-8189-0653-1 (в пер.)

Удивительно — но факт! Среди произведений классика детективного жанра сэра Артура Конан-Дойля есть книга, посвященная истории Франции времен правления Наполеона.

В России «Тень Бонапарта» не выходила несколько десятилетий, поскольку подверглась резкой

критике советских властей и попала в тайный список книг, запрещенных к печати. Вероятнее всего, недовольство вызвала тема — эмиграция французской аристократии.

Теперь вы можете сполна насладиться лихо закрученными сюжетами, погрузиться в атмосферу наполеоновской Франции и получить удовольствие от встречи с любимым автором.

© М.Б. Антонова, П. А. Гелева,  
перевод на русский язык, 2006

© ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп»,  
2006

© ЗАО «Издательский дом

«Гелеос», 2006

Артур Конан-Дойль  
**ТЕНЬ БОНАПАРТА**

Издатель *Н. Ушакова*

Художник *А. Акишин*

Дизайн обложки *Л. Григорян*

Технический редактор *В.*

*Ерофеев*

Верстка *С. Чорненъкий*

Корректор *О. Водовозова*

Подписано в печать 10.11.06.

Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Доп. тираж  
5000 экз. Заказ № 3191.

Общероссийский классификатор

продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение  
№ 77.99.02.953.Д.006738.10.05 от  
18.10.2005 г.

ЗАО «Издательский Дом  
ГЕЛЕОС» 115093, Москва,  
Партийный переулок, 1 Тел.: (495)  
785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972  
[www.geleos.ru](http://www.geleos.ru)

Издательская лицензия  
№ 065489 от 31 декабря 1997 г.

ЗАО «Читатель» 115093, Москва,  
Партийный переулок, 1 Тел.: (495)  
785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

Отпечатано в ОАО «Рыбинский

Дом печати» 152901, г. Рыбинск, ул.  
Чкалова, 8.

Спасибо, что скачали книгу в  
[бесплатной электронной библиотеке](#)  
[Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

# Примечания

1

Твою очаровательную кухню  
(франц.)

*Бони* — уменьшительное от Бонапарт, так англичане пренебрежительно называли французского императора Наполеона. — *Прим. перев.*



*Chasse-marée* — быстроходный рыбачий трехмачтовый баркас (франц.). *Kanep* — судно, владельцы которого, с разрешения собственного правительства, занимались в море захватом торговых судов, принадлежащих враждебным своей стране державам. — *Прим. перев.*

*Стоун* — единица измерения веса, принятая в англоязычных странах: 1 стоун = 6,35 кг. — *Прим. перев.*

О Боже мой! (*франц.*)

Слово чести (*франц.*)

Военная                      удача.                      *Здесь:*  
превратности войны, (*франц.*)

Посмотрим (*франц.*).

Черт возьми! (*франц.*)

Вперед! вперед! (*франц.*)



Хорошее русское слово, указывающее на скверную суть, обозначаемого им предмета; совершенно вытеснено теперь из обихода вуалирующим ее английским словом «снайпер». — *Прим. перев.*

Да здравствует император!  
(франц.) Боевой клич  
наполеоновской армии.

Да здравствует король! (*франц.*)

Сдавайся, негодяй, сдавайся!

*(франц.)*

А, Боже мой! Эди, Эди, моя  
возлюбленная! (*франц.*)

Булонский лес (*франц.*)